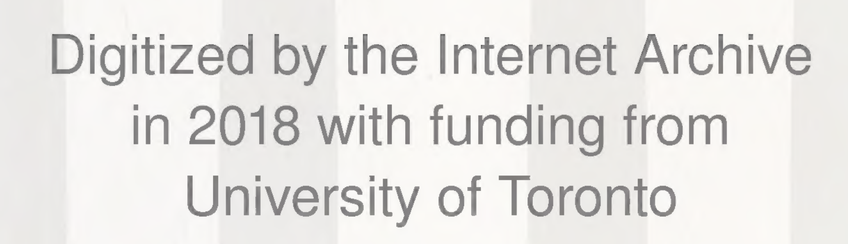
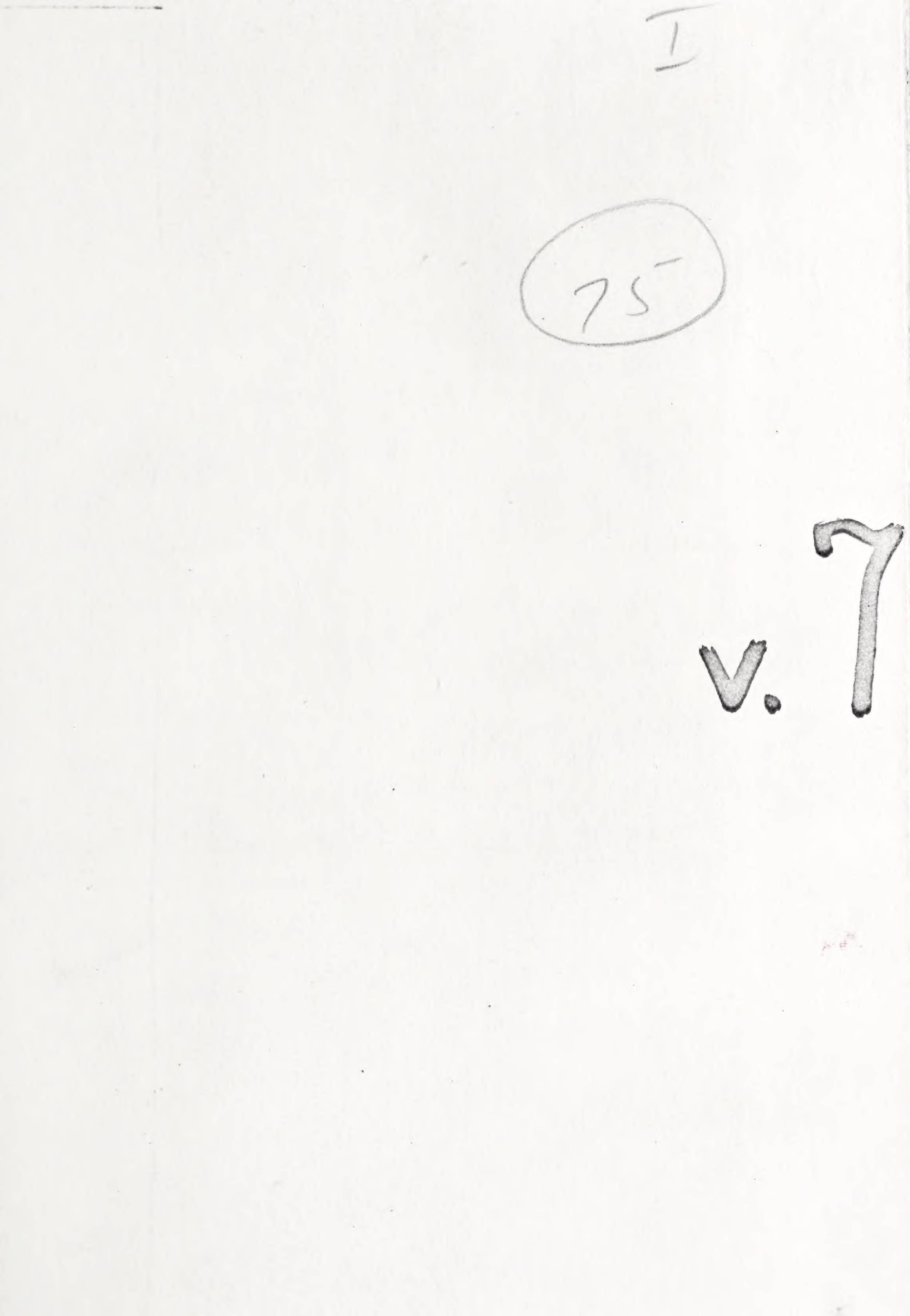

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00324745 9




I
75
v. 7


LIBRARY
MAR 26 1970
UNIVERSITY OF TORONTO

Собраніе сочиненій

Θедора Сологуба

Т. VIIй



Изд-во

ШИПОВНИКЪ

С. П. Б.

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ТОМЪ СЕДЬМОЙ

ИЗД. „ШИПОВНИКЪ" СПБ.

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

РАЗСКАЗЫ

ТОМЪ СЕДЬМОЙ

ИЗД. „ШИПОВНИКЪ“ СПБ.


ИЗД.
ШИПОВНИКЪ

Типографія товарищества
«Екатерингофское Печатное Дѣло».
СПБ., Екатерингофскій, пр., 10.

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.

РАЗСКАЗЫ

БѢЛАЯ СОБАКА.

Такъ все опостыло въ этой мастерской губернскаго захолустнаго города,—эти выкройки, и стукъ машинокъ, и капризы заказчицъ,—въ этой мастерской, гдѣ Александра Ивановна и училась, и ужъ сколько лѣтъ работала закройщицею. Все раздражало Александру Ивановну, ко всѣмъ она придиралась, бранила безотвѣтныхъ ученицъ, напала и на Танечку, младшую изъ мастерицъ, вчерашнюю здѣшнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, потомъ вѣжливымъ голоскомъ и такъ спокойно, что всѣ, кромѣ Александры Ивановны, засмѣялись, сказала:

— Вы, Александра Ивановна, сущая собака.

Александра Ивановна обидѣлась.

— Сама ты собака!—крикнула она Танечкѣ.

Танечка сидѣла и шила. Отрывалась время отъ времени отъ работы, и говорила спокойно и неторопливо.

— Завсегда лаетесь... Собака вы и есть... У васъ и морда собачья... И уши собачьи... И хвостъ трепаный... Васъ хозяйка скоро выгонитъ, такъ какъ вы есть самая злющая собака, песъ барбосъ.

Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая дѣвушка съ невиннымъ, хорошенькимъ, слегка

хитренькимъ личикомъ. Смотрѣла такою тихонькою, одѣта была, какъ дѣвочка ученица, сидѣла босая, и глазки у нея были такіе ясные, и бровки разбѣгались веселыми и высокими дужками на ровно-изогнутомъ, бѣленькомъ лбу подъ гладко причесанными, темно каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосокъ у Танечки былъ звонкій, ровный, сладкій, вкрадчивый,—и если бы слушать только звуки, не вслушиваясь въ слова, то казалось бы, что она говоритъ любезности Александрѣ Ивановнѣ.

Другія мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками, и опасливо посматривая на Александру Ивановну,— а Александра Ивановна сидѣла багровая отъ ярости.

— Дрянь,—вскрикивала она,—я тебя за уши выдеру! Я тебѣ всѣ волосья повытаскаю.

Танечка отвѣчала нѣжнымъ голосомъ:

— Лапки коротенькія... Барбосъ лается и кусается. . Намордничекъ надо купить.

Александра Ивановна бросилась къ Танечкѣ. Но, прежде чѣмъ Танечка успѣла положить шитье и встать, вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лиловаго платья. Строго сказала:

— Александра Ивановна, что это вы скандалите!

Александра Ивановна взволнованнымъ голосомъ заговорила:

— Ирина Петровна, что же это такое! Запретите ей меня собакою называть!

Танечка жаловалась:

— Излаяла ни за что, ни про что. Всегда по пустякамъ ко мнѣ придерется, и лается.

Но хозяйка посмотрѣла строго и на нее, и сказала:

— Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты-ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что ужъ если ты мастерица, такъ и большая. Какъ бы я твою маменьку не пригласила, по старой памяти.

Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый видъ. Смиренно сказала хозяйкѣ:

— Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь ихъ не задѣвать. Да ужъ онѣ очень строгія, слова имъ не скажи, сейчасъ,—я тебя за уши. Такая же мастерица, ни какъ и я, а ужъ я имъ изъ дѣвчонокъ вышла.

— Давно-ли, Танечка?—спросила хозяйка внушительно, подошла къ Танечкѣ,—и въ затихшей мастерской послышались двѣ звонкія пощечины и Танечкинъ слабый вскрикъ:

— Ахъ! ахъ!

Почти больная отъ злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ея больное мѣсто.

«Ну, собака, и пусть собака,—думала Александра Ивановна,—а ей то что за дѣло? Вѣдь я не развѣдываю, кто она, змѣя или тамъ лисица, что-ли,—и не подсматриваю, не выслѣживаю, кто она. Татьяна, и дѣло съ концомъ. Обо всѣхъ можно узнать, а только зачѣмъ ругаться? Чѣмъ собака хуже кого другого?»

Лѣтняя свѣтлая ночь томилась и вздыхала, вѣя съ ближнихъ полей на мирныя улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась, ясная, полная, совсѣмъ такая же, какъ и тогда, какъ и тамъ, надъ широкою, пустынною степью, родиною дикихъ, рыскающихъ на волѣ, и воющихъ отъ древней земной тоски. Такая же, какъ и тогда, какъ и тамъ.

И такъ же, какъ тогда, горѣли тоскующіе глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее въ городахъ о степныхъ просторахъ сердце, и мучительнымъ желаніемъ дикаго воплю сжималось горло.

Начала было раздѣваться, да что! все равно не уснуть.

Пошла изъ дверей. Въ сѣняхъ теплыя подъ босыми ногами шатались и скрипѣли доски сорнаго пола, и какія-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ногъ.

Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидѣла, черная въ черномъ платкѣ, сухая и сморщенная. Нагнулась, старая, и казалось, что грѣется въ лунныхъ, холодныхъ лучахъ.

Александра Ивановна сѣла рядомъ съ нею, на ступеньки крыльца. Смотрѣла на старуху сбоку. Большой, загнутый старухинъ носъ казался ей клювомъ старой птицы.

„Ворона?"—подумала Александра Ивановна.

Улыбнулась, забывая тоску и страхъ. Умные, какъ у собаки, глаза ея засвѣтились радостью угадки. Въ блѣдно-зеленомъ свѣтѣ луны разгладившіяся морщинки ея увядшаго лица стали вдругъ невидны, и она опять сдѣлалась молодою, веселою и легкою, какъ десять лѣтъ тому назадъ, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночамъ у оконъ темной бани.

Она подвинулась поближе къ старухѣ, и ласково сказала:

— Бабушка Степанида, а что я у васъ все хочу спросить?

Старуха повернула къ ней темное лицо съ глубокими морщинами, и рѣзкимъ старческимъ голосомъ спросила, точно каркнула:

— Ну, что, красавица? Спрашивай.

Александра Ивановна тихонько засмѣялась, дрогнула тонкими плечами отъ вдругъ пробѣжавшаго по спинѣ холодка, и говорила очень тихо:

— Бабушка Степанида, сдается мнѣ, — правда-ли это, нѣтъ-ли?—ужъ не знаю, какъ и сказать,—да вы, бабушка, не обидьтесь,—я вѣдь не со зла...

— Ну, ну, говори, не бойся, милая,—сказала старуха.

Глядѣла на Александру Ивановну яркими, зоркими глазами. Ждала. И опять заговорила Александра Ивановна:

— Сдается мнѣ, бабушка,—ужъ вы, право, не обидьтесь,—что будто бы вы, бабушка, ворона.

Старуха отвернулась, и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ея съ рѣзко очерченнымъ носомъ клонилась и качалась, и казалось порою Александрѣ Ивановнѣ, что старуха дремлетъ. И дремлетъ, и шепчетъ что-то себѣ подъ носъ. Качаетъ головою, и шепчетъ древнія, ветхія слова. Чародѣйныя слова...

Было тихо на дворѣ, ни свѣтло, ни темно, и все вокругъ казалось завороженнымъ беззвучнымъ шептаніемъ древнихъ, вѣщихъ словъ. Все томилось и млѣло, и луна сіяла, и тоска опять сжимала сердце, и было все ни сонъ, ни явь. Тысячи запаховъ, незамѣтныхъ днемъ, различались чутко, и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое въ долгихъ вѣкахъ.

Еле слышно бормотала старая:

— Ворона и есть. Только крыльевъ у меня нѣту. И я каркаю, и я каркаю, а имъ и горя мало. А мнѣ дадено предвидѣнье, и не могу я, красавица, не каркать, да

людишки то и слушать меня не хотятъ. А я какъ увижу обреченнаго, такъ и хочется мнѣ каркать, и хочется.

Старуха вдругъ широко взмахнула руками, и рѣзкимъ голосомъ крикнула дважды:

— Каръ, каръ!

Александра Ивановна дрогнула. Спросила:

— Бабушка, кому каркаешь?

Отвѣтила старая:

— Тебѣ, красавица, тебѣ.

Жутко стало сидѣть со старухою. Александра Ивановна ушла къ себѣ. Сѣла подъ открытымъ окномъ. Слушала,—за воротами сидѣли двое, и говорили.

— Воетъ и воетъ,—слышался низкій и злой голосъ.

— А ты, дядя, видѣлъ?— спросилъ сладенькій тенорокъ.

Александра Ивановна сразу по этому тенорку представила кудреватаго, рыжеватаго, весноватаго парня,—здѣшній, съ этого же двора.

Прошла минута тусклаго молчанія. И вдругъ послышался сиплый и злой голосъ:

— Видѣлъ. Большая. Бѣлая. У бани лежитъ, и на луну воетъ.

Опять представила по голосу черную бороду лопатою, низкій плоеный лобъ, свиные глазки, разставленныя толстыя ноги.

— Чего же она воетъ, дядя?—спросилъ сладкій.

И опять не сразу отвѣтилъ сиплый:

— Не къ добру... И откуда взялась, не знаю.

— А ежели, дядя, она — оборотень? — спрашивалъ сладкій.

— А не оборачивайся,—отвѣтилъ сиплый.

Непонятно было, что значили эти слова,—но не хотѣлось думать о нихъ. И уже не хотѣлось прислушиваться къ нимъ. И что же ей звукъ и смыслъ людскихъ словъ!

Луна смотрѣла прямо въ лицо, и настойчиво звала, и томила. И тусклою сжималось сердце тоскою,—и не усидѣть было на мѣстѣ.

Александра Ивановна поспѣшно раздѣлась. Нагая, бѣлая, тихо вышла въ сѣни, пріоткрыла наружную дверь,—на крыльцѣ и на дворѣ никого не было,—пробѣжала дворомъ, огородомъ, добѣжала до бани. Рѣзкое ощущеніе холода въ тѣлѣ и холодной земли подъ ногами веселило. Но скоро тѣло угрѣлось.

Легла на траву, на животъ. Приподнялась на локтяхъ, подняла лицо къ блѣдной, мертво-тоскующей лунѣ, и протяжно завыла.

— Слышь, дядя, завыла,—сказалъ у воротъ кудреватый.

Сладенькій тенорокъ трусливо дрожалъ.

— Завыла, проклятая,—неторопливо отозвался сиплый и злой.

Встали со скамьи. Щелкнула щеколда у калитки.

Тихо шли дворомъ и огородомъ, двое. Впереди старшій, дюжій, чернобородый, съ ружьемъ въ рукахъ. Кудреватый трусливо жался сзади. Выглядывалъ изъ-за плеча.

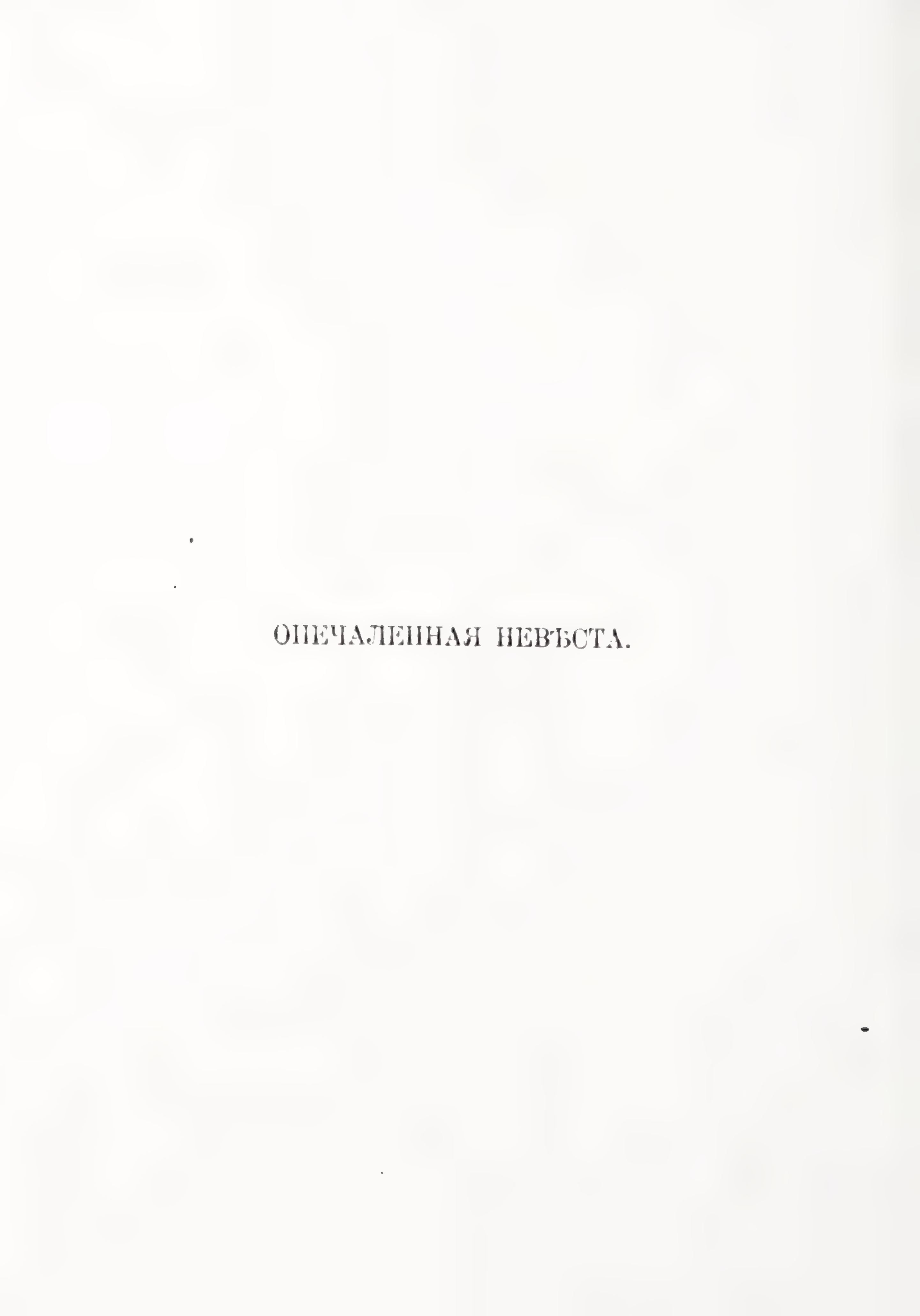
За банею лежала въ травѣ большая бѣлая собака, и выла. Ея голова, черная на макушкѣ, была поднята къ ворожащей въ холодномъ небѣ лунѣ, заднія лапы были странно вытянуты назадъ, а переднія упруго и прямо упирались въ землю. Въ блѣдно-зеленомъ и невѣрномъ озареніи луны она казалась огромною,—такою

огромною, какихъ и не бываетъ на свѣтѣ собакъ,—толстою и жирною. Черное пятно, которое начиналось на ея головѣ, и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенною косою. Хвоста не было видно,—должно быть, онъ былъ подвернутъ. Шерсть на тѣлѣ была такая короткая, что собака издали казалась совсѣмъ голою, и кожа ея матово свѣтилась въ лунномъ свѣтѣ, и похоже было на то, что въ травѣ лежитъ и воетъ по собачьи голая женщина.

Чернобородый прицѣлился. Кудреватый закрестился и забормоталъ что-то.

Гулко прокатился ударъ выстрѣла. Собака завизжала, вскочила на заднія ноги, прокинулась голою женщиною, и, обливаясь кровью, бросилась бѣжать, визжа, воия и воя.

Чернобородый и кудреватый повалились въ траву, и въ дикомъ ужасѣ завыли.



ОПЕЧАЛЕННАЯ НЕВѢСТА.

Когда же и быть странностямъ, какъ не въ наши дни? Свирѣпые и печальные дни, когда неистощимымъ кажется многообразіе воплощаемыхъ въ жизни возможностей.

Нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ въ наши дни составили кружокъ, доступъ въ который былъ довольно труденъ и цѣль дѣятельности котораго могла бы, конечно, быть названа странною.

Когда умиралъ въ городѣ молодой человѣкъ, у котораго еще не было невѣсты, одна изъ участницъ кружка надѣвала глубокій трауръ, и приходила на похороны, какъ невѣста.

Родные удивлялись очень, знакомые меньше, но и тѣ и другіе вѣрили, что около свѣжей могилы есть красивая и печальная тайна.

Въ кружкѣ участвовала и Нина Алексѣевна Безсонова, молодая скучающая почему-то дѣвушка, не очень красивая, но достаточно миловидная. Въ нее то и влюблялись даже,—что же и дѣлать подрастающимъ гимназистамъ!—а ей все скучно было.

И вотъ, послѣ одной изъ подругъ, наступила и для Нины очередь проводить въ могилу невѣдомаго жениха.

— Слѣдующій—вашъ,—сказали ей.

Завидовали тѣ, на кого еще не падалъ жребій. Съ сочувствующею печалью смотрѣли на Нину тѣ подруги,

которыя уже исполнили свое печальное и красивое назначеніе.

Въ этотъ день Нина вернулась домой, странно взволнованная.

И потянулись для нея длинные и томные дни бездѣйственно-тоскующей печали.

Тягостныя предчувствія томили ее, и на каждомъ шагу подстерегали примѣты, вѣщающія утрату, слезы, гибель близкаго сердцу.

Какъ тягостно знать, что исполнятся невѣдомые сроки, и умретъ нѣкто, еще незнакомый, но уже милый и дорогой! И съ нимъ погибнетъ возможность счастья.

И кто онъ будетъ? И почему суждено ему не встрѣтиться съ нею ближе гробового предѣла? Быть можетъ, спасла бы, уберегла бы, вымолила бы отъ жестокой судьбы часы и дни сладкаго забвенія печалей.

Не знаю, кто онъ будетъ, но какъ его жалко! Какая тоска.

Такой молодой, — и неумолимая уже слѣдитъ за нимъ, подстерегаетъ,—и нанесетъ ужасный ударъ, отъ котораго ничѣмъ не спасти, никакъ не уберечь!

Иногда Нина почти завидовала тѣмъ своимъ подругамъ по этому кружку, которыя уже успѣли совершить сладостно-печальный обрядъ, и теперь только донашивали свой легкій, красивый трауръ. Трауръ, такъ идущій къ ихъ милымъ лицамъ, что прохожіе на улицахъ останавливались посмотрѣть.

Нельзя было знать заранѣе, скоро ли случится это событіе. Надо быть готовой итти по первому зову, не опоздать. Поэтому Нина заказала для себя весь траурный нарядъ. Потихоньку отъ родныхъ. Хотя и досадно

было, что приходилось отъ нихъ прятаться и таиться.

О деньгахъ за траурное платье Нинѣ заботиться не надо было: это былъ расходъ, падавшій на средства кружка. Кружокъ имѣлъ довольно стройную организацію; собирались въ его кассу ежемѣсячные членскіе взносы; были, какъ бываютъ и въ другихъ обществахъ, и разные случайные доходы.

Но хоть и не надо было заботиться о томъ, чтобы сразу достать много денегъ на трауръ, хоть и можно было сшитое уже и купленное прятать гдѣ-нибудь дома, а все же придется когда-нибудь трауръ надѣть. И, конечно, лучше было бы сказать это заблаговременно. Но Нина почему-то стѣснялась говорить объ этомъ со своею матерью.

Да и какъ сказать! Надо объяснить, что и почему, а правила кружка не позволяли говорить о его цѣляхъ и дѣлахъ никому, кто не входилъ въ его составъ. Пришлось бы придумывать и лгать, и это было противно для Нины. И она откладывала со дня на день, а потомъ рѣшила предоставить все случаю.

Какъ-нибудь обойдется,—думала она.

Платье принесли,—Нина выбрала часъ, когда матери не было дома,—и спрятала его въ своей комнатѣ.

По вечерамъ она раскладывала на постели и на стульяхъ траурные наряды. Въ комнатѣ ея все было бѣло и розово, прозрачныя колыхались легкія занавѣсочки на окнахъ, нѣжно и ласково пахли полевые цвѣты въ красивыхъ вазахъ, и за окномъ надъ далекимъ, стально голубѣющимъ моремъ полыхалъ дѣвичьимъ румянцемъ догорающій закатъ. И отъ этого всего дѣвственно-чистаго и свѣтлаго черныя одежды казались

особенно страшными, и пугали сердце, и быстрые исторгали изъ тоскующихъ глазъ потоки слезъ.

Глядѣла на черный цвѣтъ, и плакала. Плакала долго.

Иногда примѣряла трауръ, и смотрѣлась въ зеркало. Черный цвѣтъ, и скромный покрой платья, и строгій фасонъ шляпы,—все это было ей такъ къ лицу,—и отъ этого еще печальнѣе становилось на сердцѣ, и еще неудержимѣе хотѣлось плакать.

И по утрамъ, просыпаясь, открывала глаза съ тайнымъ страхомъ,—не пришло ли уже оно, жданное горе. Солнце было уже высоко, садъ пламенѣлъ, залитый расплавленнымъ великолѣпіемъ драконовой лютой злости, и сквозь легкія, розоватыя, сквозныя пленки нарядныхъ занавѣсокъ метался въ глаза неистовый день. И навстрѣчу дню и буйству стремительной жизни бросала Нина злое слово, ядъ тоскующаго предчувствія:

— А онъ, мой милый, скоро умретъ!

И выходила въ столовую смутная, туманная, смятеніемъ милаго лица странно противорѣчила легкому, свѣтлому наряду дачной барышни.

Мать смотрѣла на нее съ недоумѣніемъ, и спрашивала:

— Да что ты скучаешь, Ниночка? О чемъ волнуешься? Что съ тобою?

Нина отмалчивалась, загадочно и печально улыбаясь, и садилась на свое мѣсто за столомъ, тихая, кроткая, красивая, къ лицу одѣтая, къ лицу причесанная, и совсѣмъ похожая на героиню романа, завязка котораго не обѣщаетъ счастливаго конца.

И мать не могла добиться правды, что съ Ниною.

Но вотъ однажды, въ минуту внезапной откровен-

ности, разнѣженная печалью и завороженною тишиною сѣверной бѣлой ночи, взволнованная красивыми взлетами недалекихъ фейерверковъ на чьихъ-то незнакомыхъ именинахъ прямо противъ веранды ихъ дачи, гдѣ сидѣли онѣ тогда вдвоемъ послѣ вечерняго чая,— Нина довѣрчиво прижалась къ матери, вдругъ заплакала, и сказала очень тихо, нѣжная, сумеречно-бѣлая, на темно-сѣромъ платьѣ матери выдѣляясь успокоенно-красивымъ пятномъ:

— Такъ тяжело на сердцѣ! У меня предчувствіе, что что-то будетъ... что то странное... горе какое-то.

Мать обезпокоилась. Обняла Нину. Приговаривала ласково, какъ малаго ребенка утѣшала:

— Что ты, Ниночка, Богъ съ тобою, чему быть? Что будетъ? Ты, дитя мое, въ предчувствія не вѣрь, ты же не старушка. Да и кто въ наши дни вѣритъ въ это?

Нина вытерла слезы, притворно спокойнымъ голосомъ сказала, притворно улыбаясь:

— Правда, мама, я и сама знаю, что это очень глупо, а только все мнѣ кажется, что ему грозитъ несчастіе.

— Кому, Нина?—спросила мать.

Слегка отодвинулась, — взглянуть на дочь, щуря сѣрые, немного близорукіе глаза. Нина говорила, и чуть не плакала:

— Моему милому, жениху моему.

— Что ты, Ниночка! — съ удивленіемъ говорила мать.—Какому милому? Развѣ у тебя есть женихъ!

— Нѣтъ жениха,—тоскливо говорила Нина,—нѣтъ, но что же изъ того? А вотъ, предчувствіе такое у меня, что вотъ я влюблюсь въ него, и онъ будетъ мнѣ свѣта милѣе и жизни дороже,—и вдругъ онъ умретъ.

И Нина опять заплакала неутѣшно,—и мать съ удивленіемъ ласкала и уговаривала ее. Поила какими-то каплями. Нина всмотрѣлась въ ея испуганное, смѣшно-озабоченное лицо, и засмѣялась.

Въ этотъ вечеръ не любовалась траурными одеждами, и заснула спокойно. А на утро, едва открыла глаза, едва разслышала веселые птичьи смѣхи и голоса Минки и Тинки, споривших о чемъ-то, опять приступила тоска.

Два гимназистика, ея маленькіе братья, Минка и Тинка, смѣялись надъ ея таинственною печалью. Дразнили ее.

И было ей такъ грустно, что даже не сердилась она на мальчишекъ, надоѣдливыхъ, шумныхъ, и глупыхъ,— несмышленышей.

День клонился къ вечеру, но было еще жарко и ярко на празднично-лѣтней землѣ, и торжественною казалось ширина и тишина высокаго купола. Нина стояла на широкомъ пляжѣ, и всматривалась въ просторы воды и небесъ.

Проносились какія-то птицы, маленькія, быстрыя, суетливо-озабоченныя, и въ воздухѣ надъ Ниною шныряли ихъ длинные, тонкіе писки.

Плотный мелкій, укатанный волнами песокъ сообщалъ ея стопамъ свою теплую хрупкость и влажность. Слегка щекоталъ кожу нѣжныхъ ногъ, еще не загрубѣвшую отъ частыхъ прикосновеній къ милому песку земныхъ взморій.

Волны плескались, набѣгая,—безвѣтренныя, широкія волны близкаго, милаго моря,—гдѣ люди тонутъ, какъ

и въ далекомъ,—плескались волны, набѣгая, лобзая стройныя, уже загорѣлыя ноги. И весело, и свободно подъ легкою одеждою дышала грудь, вздымая двѣ смуглыя волны.

Стояла, смотрѣла въ синюю даль, мечтала томительно, сладко, печально.

Кто же будетъ онъ, мой милый, кого провожу въ могилу, надъ кѣмъ заплачу? И глаза, которые на меня никогда не глянутъ, и губы, которыя мнѣ никогда не улыбнутся.

Не молвитъ слова, не обниметъ, не скажетъ:

Милая, люблю! милая, дороже ты для меня жизни!

Темнымъ предчувствіемъ печали томилось сердце, и хотѣлось плакать,—да еще не о чемъ было плакать.

А какъ отрадно было бы упасть на песокъ, и рыдать въ безмѣрномъ отчаяніи, вѣтрамъ и волнамъ повѣряя печаль омраченной души!

Вспомнила вчерашній разговоръ съ одною изъ подругъ о предстоящей дуэли князя Ордынъ-Улусова съ мужемъ женщины, которая его любила. Какъ жаль, что нельзя итти за гробомъ юнаго красавца Улусова!—вѣдь онъ любитъ другую, и всѣмъ уже извѣстна въ городѣ исторія этой любви, красивой, трогательной и безумной:—любовь, если въ ней правда, воистину презираетъ всѣ условія жизни, и дерзаетъ даже до смерти.

Да, можетъ быть, еще и не убьетъ ни одинъ изъ соперниковъ другого, и все окончится на этотъ разъ благополучно. И пусть живетъ, ей то что!

Нетерпѣніе предчувствій возрастало, томило нестерпимо.

Пламенѣющее небо заката пылало, яркою страстью

отравляя тихую печаль души, надъ міромъ распростирая багряное отчаяніе въ потокахъ многоцвѣтно-горящей крови подъ изнемогающей пустынею холоднаго зенита.

Нина пошла домой. Сырымъ и непріятнымъ казался песокъ. И досадно стало, зачѣмъ оставила дома башмаки, и идетъ босая.

Да нѣтъ, не на это досадно, -такъ, безпредметное томленіе, неясная тоска. Бремя, которое надо нести.

Близъ своей дачи Нина увидала знакомую фигуру. Всмотрѣлась,—Наташа Лещинская.

И обрадовалась Нина, и словно испугалась. Не приходитъ ли она съ ужасною, жданною вѣстью?

Идетъ, какъ судьба, измучить печалью, изранить тоскующее сердце.

Уже издали было видно, по торопливости и неловкости движеній, что Наташа взволнована чѣмъ-то. И что, конечно, несетъ съ собою какое-то значительное извѣстіе.

У Нины отъ волненія задрожали руки и похолодѣли колѣни. Хотѣла бѣжать къ подругѣ, но вдругъ сердце такъ забилось, что Нина должна была остановиться.

Покраснѣла. Стояла, улыбаясь и держа скрещенныя руки на груди, въ неловкой, странной позѣ. Такая смущенная, невѣрная была улыбка.

— Наташечка, это ты?—сказала какъ-то неловко.— Какъ я рада!

И замолчала, сбитая невѣрностью своихъ интонацій.

— Ну, Ниночка,—сказала Наташа, подходя и слегка запыхавшись отъ быстрой ходьбы.

И у нея было озабоченное лицо, а разбившіеся, подвитые на шпилькахъ черные волосы, выбившіеся изъ-подъ желтой соломенной съ желтымъ страусовымъ перомъ шляпки придавали ея смуглому лицу какой-то мальчишески - задорный и излишне самоувѣренный видъ.

— Да? умеръ? мой?—безсвязно, испуганно спрашивала Нина.

Наташа оживленно говорила:

— Умеръ. И, можешь представить, застрѣлился! Правда, интересно? Тебѣ счастье.

Нина заплакала. Казалась такою жалкою, растерявшеюся, милою среди этого пронизаннаго розовымъ и голубымъ свѣтомъ простора, въ своемъ простомъ синемъ съ бѣлыми полосками обшивки костюмѣ, съ загорѣлою стройностью тонкихъ тихихъ ногъ, передъ этою нарядною въ многотонно-желтомъ, тяжело дышащею отъ скорой ходьбы по песку на высокихъ каблукахъ, румяно-смуглою, бойкою гостьею.

Плача, тихо спросила Нина:

— Кто?

Звукъ ея голоса былъ тонкій и робкій, какъ у плачущаго ребенка.

Наташа ласково пожала ея руку.

— Правда, очень жаль, — сказала она. — Молодой очень. Студентъ Иконниковъ.

— Одинъ?—спросила Нина.

— Да, онъ былъ одинъ, когда застрѣлился. Семья жила на дачѣ. Онъ пріѣхалъ днемъ въ пустую квартиру, писалъ письма, самъ опустилъ въ почтовый ящикъ, одинъ переночевалъ. Утромъ застрѣлился. Никто и не зналъ въ домѣ, пока родители не пріѣхали,—

онъ и имъ послалъ письмо на дачу. Они, кажется, въ Павловскѣ жили.

Нина молчала. Уже въ саду своей дачи она вопросительно взглянула на Наташу. Отвѣчая на этотъ взглядъ, Наташа сказала:

— Послѣ завтра хоронятъ. Въ Петербургѣ.

Пришли домой.

— О чемъ ты плачешь, Нина?—спросила мать.

— Онъ умеръ,—коротко отвѣтила Нина, сухимъ, словно враждебнымъ тономъ.

— Кто умеръ?

Какъ почти всегда у старѣющихъ женщинъ внезапное упоминаніе о смерти чьей-то обдало Нинину мать холодомъ страха,—точно сказалъ кто-то внятнымъ и темнымъ голосомъ:

— Умрешь и ты!

— Ахъ, мама,—съ непривычною досадливостью отвѣтила Нина,—ты, все равно, не знаешь его.

„Я и сама не знаю",—подумала Нина.

И оттого, что эта мысль вплелась смѣшною ниткою въ печальную ткань переживаемаго, стало еще больнѣе.

Мать обратилась къ гостьѣ:

— Скажите хоть вы, Наташа, кто умеръ.

Наташа, снимая шляпу передъ зеркаломъ, говорила нетороплнво, стараясь быть спокойною, но сама почему-то волнуясь:

— Застрѣлился студентъ, нашъ знакомый, Иконниковъ. Въ городѣ. Неизвѣстно, отчего. Такой молодой. Знаете, такъ много самоубійствъ въ наши дни, и такъ жалко. Молодой такой, и никто не знаетъ причины.

Рана въ вискѣ,—маленькое синее пятно, точно расшиблено. И лицо совсѣмъ спокойное.

— Я поѣду на панихиду, — рѣшительно сказала Нина.

— Нина!

Мать сѣла на кресло, смотрѣла на дочь, и не знала, что сказать.

— Непремѣнно! Ради Бога, не удерживайте!— восклицала Нина.

Наташа сѣла рядомъ съ Александрою Павловною, и говорила тихо:

— Пожалуйста, не безпокойтесь. Я съ нею поѣду, и буду все время вмѣстѣ.

Нина ушла къ себѣ.

— Что съ нею? вы не знаете, Наташа? — спрашивала Александра Павловна.—Она такъ хандрила всѣ эти дни. Что это? Кто этотъ Иконниковъ?

— Она такая впечатлительная,—говорила Наташа.— Иконникова я мало знаю. Не знаю, право. Въ наши дни такъ много всего, что угнетаетъ. Какія у нихъ были отношенія, правда, я не знаю.

Нина вышла скоро, вся въ траурѣ, и уже въ перчаткахъ и шляпѣ съ опущенною вуалью,—и опять съ недоумѣніемъ смотрѣла на нее мать.

— Нина, да откуда у тебя трауръ?

— Ахъ, мама!

— Нина, это не отвѣтъ. Я хочу знать. Ты должна.

— Мама, не истязай меня. И такъ трудно. Я говорила тебѣ, что предчувствовала бѣду. Мой женихъ умеръ. Я сейчасъ ѣду.

И говорила уже почти спокойно.

— Подожди, хоть чаю выпейте. Все равно, на какой

же теперь поѣздъ,—съ недоумѣніемъ, страхомъ и досадою говорила мать.

И медлительно влачился скучный часъ ожиданія. Ненужное питье, противная пища, свѣтъ лампы, смѣшанный съ багрянымъ умираніемъ израненной зари, заставляющее вздрагивать звяканье ложекъ, и смѣшки Минки и Тинки, и недоумѣвающіе вопросы матери,— и что-то надо говорить!

Нина была очень печальна. Нѣсколько разъ принималась плакать. Наташа озабоченно шептала:

— Ты слишкомъ рано начинаешь. Ты устанешь. У тебя не хватитъ настроенія въ рѣшительные моменты.

— Оставь, Наташа. Ты ничего не понимаешь,—досадливымъ шопотомъ отвѣчала Нина.

Но вотъ и въ вагонѣ, съ Наташею.

Вагонъ наполовину пустъ. Два-три случайные попутчика съ сочувственнымъ любованіемъ смотрѣли на Нину.

Наташа спросила:

— Нина, да ты его не встрѣчала?

— Конечно, нѣтъ.

— Такъ что же ты плачешь?

— А развѣ легко хоронить жениха?

И вдругъ Нина разсмѣялась.

— Я и не плачу. Я смѣюсь.

— Со слезами?

— До слезъ смѣшно.

Плакала.

Наташа старалась обратить ея мысли на веселое, пріятное, смѣшное. Не удавалось.

— Ну, какая ты плакса,—говорила Наташа.— Пожа-

луйста, возьми себя въ руки. Еще до истерики дойдешь,—что я съ тобою въ вагонѣ стану дѣлать?

Было уже темно, когда ѣхали по улицамъ лѣтняго города, и все вокругъ для Нины было, какъ бредъ кошмара, становящагося къ осуществленію.

Между двумя тучами сіялъ блѣдный мѣсяцъ,—и въ водѣ канала струилось его зыбкое отраженіе. И горькая была отрава въ мерцаніи безмѣрно-тихомъ надъ грубыми грохотами злыхъ, грязныхъ улицъ.

Увеселительный садъ сверкалъ разноцвѣтностью гирляндъ изъ красныхъ, желтыхъ и синихъ фонариковъ надъ бѣлою скукою забора и наглостью пестрыхъ на сѣрой стѣнѣ афишъ.

Подъѣзжали и подходили пестро-наряженныя и грубо-размалеванныя, и чей-то невидимый, но всѣмъ давно знакомый указательный палецъ упирался въ откровенно-жалкое слово „дешевый развратъ".

Было веселье въ толпѣ, идущей веселиться, бѣдное, старательное веселье во что бы то ни стало.

Оскорбительное веселье,—когда на душѣ такая печаль. Жестокіе люди! Какъ они могутъ веселиться, когда онъ, молодой, прекрасный, лежитъ съ прострѣленною головою!

Нина переночевала у Наташи. Тамъ легче было, чѣмъ дома. Наташа сказала тихо:

— У нея женихъ умеръ.

И никто не докучалъ. Нѣжно и любуясь жалѣли. Снились ласковые и печальные, и немного страшные,—скорѣе жуткіе,—сны.

Солнце, равнодушное къ земной печали, яркое и

злое, тихо, точно крадучись, метнуло въ окно свое расплавленное трепетаніе, животворящій къ смерти огонь,—и все шире и ярче изъ-за темнаго занавѣса разливалось по зеленому ковру его знойно-жидкое золото.

Было утро дня, сулящее печали и труды, и безнадежныя молитвы.

И на чужой постели, надъ залитымъ злымъ золотомъ зеленымъ ковромъ проснулась Нина,—и слезы въ глазахъ, и слабость въ тѣлѣ, и слышитъ внятное слово:

— Умеръ.

Никѣмъ не сказанное,—и связанное печалью, дрогнуло и упало сердце.

И слезы...

Думала:

„И уже теперь всю жизнь, просыпаясь, буду вспоминать, что онъ, милый мой, умеръ".

Одѣваясь, замѣтила, что трауръ ей къ лицу. Радостно улыбнулась. Торопила Наташу,—вмѣстѣ доѣхать до того дома, гдѣ жилъ онъ, ея милый. Но тщательно положила надъ загорѣлою блѣдностью милаго лица складки черной вуали...

Цвѣты и ковры на лѣстницѣ у его квартиры,—оранжевые и зеленые листья изъ стеколъ въ мѣдныхъ оковкахъ на окнахъ,—бронза перилъ и мраморъ колоннъ,—такъ, до конца печаль останется красивою, и не оскорбитъ ее пахнущая кошками неопрятная лѣстница со двора.

На площадкѣ третьяго этажа у дверей квартиры бѣлая гробовая доска... И каменныя качнулись стѣны...

Подъ локтемъ Наташина рука. Ея тихій голосъ:

— Здѣсь, Нина, милая!..

Нина вошла, закрытая длинною черною вуалью, молчаливая, подавленная горемъ. Не видя никого, прошла прямо въ залъ, гдѣ на высокомъ черномъ катафалкѣ, въ бѣломъ гробу, лежалъ ея милый.

Кто-то ходилъ, раздавая свѣчи для панихиды, и изъ боковой двери вился дымокъ разжигаемаго кадила. Въ залѣ было немного людей,—и появленіе Нины было замѣчено очень. Не зналъ ее никто, и всѣ дивились глубокому трауру и слезамъ неизвѣстно откуда пришедшей дѣвушки.

Нина подошла близко, постояла у гроба, и тихо поднялась по ступенямъ катафалка. Покровъ, цвѣты, желтое лицо. Всмотрѣлась, наклоняясь, въ тихую улыбку покойника.

Какъ странно, какъ холодно улыбаются мертвыя губы! Какія холодныя тоскующимъ губамъ невѣсты его мертвыя губы! Не дрогнутъ жаркимъ поцѣлуемъ цѣлуемыя жарко могильно холодныя мертвыя губы!

Ужаленная холодомъ мертвыхъ губъ, слабо вскрикнула Нина. Кто-то взялъ подъ руку и помогъ спуститься съ катафалка на строгій желтый лоскъ паркета. И точно поставилъ плачущую на колѣни, когда началась въ синемъ дымѣ ладана панихида.

Было перешептываніе родныхъ:

— Кто?

— Вотъ эта?

— Вы не знаете?

— Никто, кажется, не знаетъ.

Наташа стояла у двери.

Кто-то спросилъ ее:

— Не знаете ли, кто эта барышня въ траурѣ, которая такъ плачетъ?

Такъ же тихо отвѣтила Наташа:

— Это—невѣста покойнаго.

— Но никто изъ родныхъ ее не знаетъ,— съ удивленіемъ шепталъ спрашивающій.

— Да. Это печальная исторія.

Стали передавать одинъ другому:

— Это—невѣста покойнаго.

Родные были въ недоумѣніи. Но всѣ повѣрили. И какъ было не вѣрить!

Для всѣхъ этихъ, родныхъ и чужихъ, различно настроенныхъ людей, печальныхъ и равнодушныхъ, Нина, никому не знакомая, плачущая, милая и жалкая въ ея траурномъ нарядѣ, была воистину невѣстою этого неизвѣстно почему застрѣлившагося студента, тихаго и красиваго въ своемъ бѣломъ, красивомъ гробу. Никто не зналъ, какая тайна связываетъ этотъ гробъ и эту плачущую дѣвушку,—и не она ли была причиною его смерти,—но всѣмъ было трогательно смотрѣть на нее. Рядомъ съ отчаяніемъ сѣдой старухи матери и тупымъ горемъ старика отца, выражавшимися такъ сильно и такъ внѣшне некрасиво, съ покраснѣлостью глазъ, со слезливымъ насморкомъ, съ растрепанною прическою сѣдыхъ волосъ, нѣмая скорбь этой молящейся на колѣняхъ дѣвушки въ траурѣ казалась возвышенною и прекрасною. И хотя всѣ знали родителей, а ее никто не зналъ, всѣмъ было гораздо болѣе жаль ее, милую, жалкую, трогательно склонившую колѣни, такую изысканно-очаровательную подъ складками ея полупрозрачной креповой вуали. И даже бывшая у иныхъ мысль о томъ, что опечаленная и плачущая невѣста могла быть причиною смерти этого прекраснаго молодого человѣка, осыпаннаго въ гробу благоухающими ненужнымъ

ему ароматомъ цвѣтами,—даже и эта жестокая и суровая мысль не побѣждала сожалѣнія къ ней, рожденнаго въ тихихъ потокахъ ея свѣтлыхъ слезъ. И ея глубокая опечаленность, и склоненное къ холоднымъ паркетамъ ея ороненное слезами лицо, и вся ея скорбная фигура,—о, если въ этомъ горѣ есть неумолимое дуновеніе злыхъ раскаяній, что же, развѣ отъ этого еще не болѣе жалко ее? Мало ли изъ-за чего ссорятся и временно расходятся любящіе люди,—а вѣдь она, очевидно, любила его,—но нелюбимымъ такъ не плачутъ и траура не надѣваютъ,—мало ли что бываетъ между милыми, а онъ, жестокій, убилъ себя, не стерпѣлъ легкой печали, навѣкъ погрузилъ ея сердце въ ужасъ и тоску страшнаго воспоминанья!

А она, плачущая и молящаяся невѣста невѣдомаго жениха, она, отдавшаяся покорно порывамъ своей творимой печали,—что чувствовала она?

Какъ ни была она рада отдать свое сердце томленіямъ печали, какъ ни приготовлена была она къ этому тоскою сознанныхъ предчувствій,—все же представшее ей превзошло ея ожиданія.

Очарованіе этого молодого и такого смертельно спокойнаго лица, къ которому припала она для поцѣлуя притворной скорби, въ одинъ краткій мигъ овладѣло ею,—и чувствовала она, что довѣка не свергнуть ей этого сладкаго и жгучаго очарованія. Что-то болѣе прекрасное, чѣмъ красота, и болѣе властное, чѣмъ власть любви, презирающей могильный холодъ и мракъ погребальнаго склепа, нѣчто неизъяснимое и невыражаемое никакими человѣческими словами, обаяніе, вѣдомое одной только смерти, приникло къ ней,—и уже знала она, что лежащій въ бѣломъ гробѣ, осыпанный

алыми розами, обвѣянный взмахами пламенѣющаго кадила, окруженный зыбкими волнами синяго ароматнаго дыма, гдѣ растворенъ темный ладанъ, что онъ воистину желанный, возлюбленный ея женихъ.

И когда спускалась она со ступеней чернаго катафалка, и глазами, полными тоски, окинула просторъ холоднаго покоя, отыскивая, гдѣ бы ей укрыть свои слезы, уже нестерпимою мукою было пронизано ея сердце. Она сдѣлала два три шага, и почувствовала, что голова ея кружится. Она повернулась лицомъ къ гробу; возрастающая слабость была въ ея дрожащихъ колѣняхъ. Уже не выбирала она мѣста и, гдѣ пришлось, опустилась, почти упала близъ гроба. Рядомъ съ нею плакала сѣдая мать, тихо, слезливо всхлипывая. Черная ряса священника медленно двигалась близко отъ ея лица. Она заплакала, приникла лицомъ къ рукамъ, брошеннымъ на полъ, и надъ нею звякнули тихимъ звяканьемъ колечки кадильной цѣпи, пронесся низкій и увѣренный голосъ діакона, и грустно, красиво и звонко полилось панихидное пѣніе, слова трогательныя, значительныя, болѣе вѣскія, чѣмъ бѣдная вѣра людская, такія мудрыя, такія утѣшающія, — и такъ неутѣшительныя. Закрывъ лицо руками, едва слыша слова и пѣніе, едва вдыхая ладанъ грусти, она ясно видѣла передъ собою лицо покойнаго, внезапно ей милое. Видѣла его живымъ, — смѣялись глаза, и уста, полуприкрытыя черными усами, двигались, и слова были мудрыя и правдивыя, и слова были о томъ, что неизмѣнно близко и дорого сердцу. Всматривалась, — и черты лица, въ короткую минуту цѣлованія схваченныя цѣпкою памятью внезапно влюбленной, оживали теперь передъ нею, и все яснѣе представалъ

милый обликъ. И каждая черта этого лица неложно говорила о чемъ-то, безконечно-миломъ и близкомъ.

Кончилась панихида. Уходили. Около родителей покойнаго были близкіе. Утѣшали, шептали что-то.

Нина стояла одна. Ей казалось, что она окружена чужою и враждебною атмосферою.

Совсѣмъ одна...

Неужели уходить? Оставить милаго?

Заплакала. Пошла изъ комнаты, тихая, грустная, милая, жалкая, провожаемая влажными взглядами родныхъ и знакомыхъ.

На лѣстницѣ, на площадкѣ нижняго этажа остановилась, плача. И вдругъ послышались бѣгущіе сверху легкіе шаги. Нина посмотрѣла вверхъ по лѣстницѣ,— какое-то неясное предчувствіе сказало ей, что это за нею.

Дѣвушка въ траурномъ ситцевомъ платьѣ, съ кресовымъ чепчикомъ на головѣ, русоволосая и веснусчатая, съ сѣрыми и покраснѣвшими отъ слезъ глазами,— горничныя такъ плачутъ по добрымъ господамъ,— быстро сбѣгала по лѣстницѣ. Остановилась передъ Ниною.

— Барышня,—тихонько заговорила она, слегка запинаясь, точно конфузясь,—наша барыня, ихъ мамаша просятъ васъ пожаловать къ нимъ на минуточку.

— Зачѣмъ?—робко спросила Нина.

— Не могу знать, барышня,—отвѣтила горничная, но видно было по ея тону, что знаетъ и хочетъ сказать.—Только очень просятъ,—продолжала она.— Кажется, у нихъ письмо. Да не знаю ужъ что. Только очень просятъ.

Нина поднялась по лѣстницѣ, и смутная боязнь то-

мила ее, навѣвая ей какія-то внѣшнія опасенія, такія мелкія сравнительно съ глубиною ея печали. Думала:

„Неужели попросятъ не приходить болѣе? Но за что же? Или станутъ обвинять въ смерти моего милаго?“

И ручьемъ хлынули слезы. Пошатнулась. Горничная поддержала ее подъ локоть, участливо заглядывая въ лицо.

„Пусть обвиняютъ,—думала Нина,—я не буду спорить. Пусть я виновата. И почемъ я знаю? И что я знаю?“

Горничная провела ее въ гостиную.

Видно было, что вся семья живетъ на дачѣ, и пріѣхали сюда только для похоронъ. Мебель была въ чехлахъ и поставлена какъ-то кое-какъ, не совсѣмъ по зимнему. Зеркало въ простѣнкѣ было наскоро и неровно прикрыто чѣмъ-то бѣлымъ, -это потому, что въ домѣ былъ покойникъ.

Нина отвела крепoвую вуаль отъ лица, поблѣднѣвшаго подъ лѣтнимъ загаромъ и даже словно похудѣвшаго отъ печали,—и смотрѣла печальными, робкими глазами на сѣдую худощавую женщину, довольно высокаго роста, поднявшуюся ей на встрѣчу съ дивана.

„Мать“,—подумала Нина.

Какъ-то механически отмѣчала:

„Сѣдая. Тонкая. Глаза голубые, свѣтлые. Похожа на сына“.

Казалось почему-то, что еще на-дняхъ эта женщина съ заплаканными глазами и отчаяннымъ лицомъ не была сѣдою,—тщательно зачесывала волосы, и даже, можетъ быть, подкрашивала ихъ, а теперь вдругъ разомъ опустилась и уже забыла о своей внѣшности, и о растрепавшихся на головѣ сѣдыхъ космахъ.

Пригласила сѣсть. Въ этой же комнатѣ, у окна, стоялъ отецъ, высокій, прямой старикъ. Стоялъ въ полуоборотъ къ окну, точно и хотѣлъ смотрѣть на гостью, и хотѣлъ скрыть отъ нея выраженіе печали на гордомъ старческомъ лицѣ.

— Вотъ,—сказала старуха,—смотрю я на васъ, вы одна здѣсь намъ незнакомая. Вотъ я и думаю, что это вамъ должно быть письмо отъ Сереженьки. Вамъ?

— Не знаю,—сказала Нина.—Какъ я могу знать?

Старалась не плакать, а слезы опять хлынули изъ глазъ. Заплакала и мать.

— Такъ это для насъ неожиданно,—говорила она.— Ждемъ Сереженьку къ обѣду,—онъ на день въ городъ уѣхалъ,—и вдругъ... Да, о письмѣ-то я начала. Видите...

Старуха вынула изъ альбома, лежащаго на столѣ, письмо въ узкомъ сѣро-зеленомъ конвертѣ, и сказала:

— О комъ Сереженька пишетъ, мы никакъ не могли догадаться. Но это письмо,—ко мнѣ онъ письмо оставилъ, и вотъ это письмо вложено,—проситъ передать молодой барышнѣ, которая у насъ не бывала, передать, если она придетъ на панихиду или на выносъ. А узнаете, пишетъ, по тому, что она въ траурѣ будетъ и, можетъ быть, поплачетъ немножко. Ей, пишетъ, и отдайте. Если же она не придетъ, сожгите, пишетъ, не читая. Вотъ я и думаю, не вамъ ли письмо.

И, не колеблясь ни минуты, Нина сказала:

— Да, это мнѣ.

Поблѣднѣла. Протянула руку за письмомъ, вся полная страха. Тяжелые ли упреки броситъ ей изъ-за таинственной грани ея милый? Слова ли нѣжной любви и утѣшенія?

Подумала:

„А если придетъ она, другая?„

Шуршалъ конвертъ въ дрожащихъ пальцахъ. И уже нетерпѣливою рукою разорвалъ край конверта. Быстрыя мысли чередовались, пока вытаскивала письмо изъ темницы конверта:

„Придетъ—отдамъ. Да не придетъ. Злая, оставила, забыла, въ страшные предсмертные его часы не томилась тоскою предчувствій. Какъ я. Это—мое. Но если придетъ, и трауръ надѣнетъ, и заплачетъ,—отдамъ".

И отецъ и мать стояли передъ нею, и смотрѣли на ея лицо, когда она читала. Точно по лицу хотѣлось узнать имъ страшную тайну.

Читала:

„Милая, дорогая, пишу тебѣ въ странной, можетъ быть, несбыточной надеждѣ, что ты все-таки придешь, къ моему гробу, заплачешь надъ моею могилою, хоть короткое время поносишь по мнѣ трауръ. Зачѣмъ мнѣ это? Знаю, что это—ужасная ерунда, а все-таки утѣшенъ мечтою о томъ, что ты придешь. И если придешь тебѣ отдадутъ это письмо. А не придешь, сожгутъ. Такъ я просилъ маму, а она у меня славная и не обманетъ, сдѣлаетъ, какъ я прошу. Ты, я вѣрю, не огорчишь ее ни однимъ ненужнымъ словомъ. Я, видишь-ли, умираю. Все одно къ одному подошло. Не вини себя, милая. Въ нашей разлукѣ я самъ виноватъ, я одинъ. И мнѣ пенять не на кого, а только это было такъ, словно изъ ткани моей жизни кто-то выдернулъ какую-то связующую нить, и все стало разсыпаться. По внѣшности я остался такимъ же, и шелъ за одно съ товарищами, вообще не вѣшалъ носа. Даже взялся за дѣло, которое раньше, можетъ быть, сдѣлалъ бы съ размаха. А теперь оно меня окончательно раздавило... Убить всегда труд-

но, — но я знаю, что... Да что говорить! Взялся, и не могу. Предпочитаю убить самого себя. Не потому, чтобы старыя прописи изъ морали, ну, тамъ святость человѣческой жизни,—да нѣтъ, можетъ быть, и это. Такъ, странно и темно. Весь изнемогъ. Я—человѣкъ конченный (впрочемъ, эту фразу я слизнулъ у кого-то, ну да сойдетъ). Тебѣ хотѣлъ бы сказать что-нибудь очень свѣтлое и спокойное. Ты, можетъ быть, улыбнешься сквозь слезы, но пусть,—я все-таки тебя, Киска, очень люблю. Будь счастлива, обо мнѣ вспоминай не часто и безъ досады. А если бы ты вернулась,—но, впрочемъ, что вамъ, живущимъ, завѣты изъ-за гроба? Чепуха, не правда ли? И все-таки, мой другъ, моя милая, тотъ, кто увидѣлъ свѣтъ и отвернулся отъ него, порядочная дрянь.

Прощай. Твой Сергѣй.“

Нина вложила письмо въ конвертъ. Хотѣлось уйти, остаться одной, перечитывать, думать и плакать. И уже хотѣла уходить. Но чьи-то просящіе взоры удерживали ее.

— Что вамъ пишетъ Сережа?—спросила мать.

Нина молчала. Не знала, что сказать. И старая продолжала:

— Поймите ужасъ нашего положенія,—вѣдь мы совершенно не знаемъ, изъ-за чего Сережа, изъ-за чего,—вѣдь это ужасно! Хоть бы что-нибудь знать, хотя бы что-нибудь!

Нина думала:

„Что же я могу сказать? А если она придетъ? и придется ей отдать письмо? Лучше пусть она скажетъ“.

Улыбалась и плакала. Сказала рѣшительно:

— Простите, я очень понимаю, но сейчасъ я должна молчать. Я не могу вамъ сказать, ничего не могу.

— Сударыня,—началъ молчавшій до этого времени отецъ, и звукъ его голоса былъ странно рѣзокъ и скрипучъ,—вѣдь мы могли бы и не отдавать вамъ письма. Въ такомъ положеніи... Мы имѣли бы право сами его распечатать. А вы скрываете...

Не кончилъ. Странно всхлипнулъ. Отвернулся.

Нина потупилась, и тихо сказала:

— Да, вы имѣли возможность прочитать это письмо,— но вы этого не сдѣлали.

— Нѣтъ, конечно,—говорила мать,—кто же говоритъ! Конечно, мы бы не стали читать чужого письма. Но наше... наше горе... умоляю васъ, пожалѣйте старую женщину.

— Ради Бога,—вскрикнула Нина,—подождите, подождите до завтра. Клянусь вамъ, теперь я не могу. Я скажу вамъ завтра. Завтра, когда его... когда Сережу... ради Бога.

Плакали обѣ, обнимая одна другую. И вдругъ мать оттолкнула Нину.

— Не дастъ вамъ Богъ счастія, если онъ изъ-за васъ!—плачущимъ воплемъ слабо вскрикнула она, и бросилась рыдая изъ комнаты.

Отецъ быстро ушелъ за нею. Нина осталась одна.

День проходилъ тупо и вяло, въ смятеніи мыслей и мечтаній. Перечитывала письмо милаго. Думала боязливо:

„А если придетъ та, другая, злая?"

Горько было думать, что придется отдать ей милыя

странички, исписанныя мелкимъ, торопливымъ, четкимъ почеркомъ. И утѣшая себя, опять думала:

„Да нѣтъ, не придетъ."

Нетерпѣливо ждала вечера,—итти опять на панихиду, въ гробъ милому положить бѣлую розу, у гроба его оставить бѣлый вѣнокъ опечаленной невѣсты. И узнать, пришла ли злая разлучница.

Докучныя, лишнія, пламенныя влачились минуты змѣиносолнечнаго дня.

Послѣ обѣда Нина сказала Наташѣ:

— Послѣдняя отрада—получить письмо отъ милаго. Я его получила.

Наташа съ удивленіемъ смотрѣла на узкій зеленый конвертъ. Нина въ первый разъ замѣтила на конвертѣ надпись. Прочла:

„Опечаленной невѣстѣ."

Та, другая, не приходила. Ея не было ни на вечерней панихидѣ, гдѣ бѣлый легъ вѣнокъ на ступени чернаго катафалка, и у черныхъ волосъ милаго упала бѣлая роза, подарокъ невѣсты. Ея не было и на выносѣ, и на отпѣваніи.

И красота невѣстиной печали ничѣмъ не была нарушена.

По знойнымъ утреннимъ улицамъ равнодушно-шумнаго города, за гробомъ, по пыльной мостовой шла Нина съ родителями своего жениха. Кто-то изъ его родныхъ, элегантно одѣтый и красивый господинъ съ сѣдѣющими усами и прямымъ станомъ отставного офицера, велъ Нину подъ руку.

Красота ея печали влеклась по безобразію пыльныхъ, знойныхъ улицъ, подъ неистовымъ пыланіемъ древняго Змія, среди минутно тронутыхъ и крестя-

щихся прохожихъ,—роковая красота печали влеклась на сѣромъ и зломъ безучастіи Айсы.

Устала, но не хотѣла сѣсть въ карету. И смертельно устала. Усталость вѣнчала красоту ея печали, и милая томность ея лица была еще болѣе трогательна этимъ чужимъ людямъ.

Скорбный долгъ былъ обрядъ, потому что не жалѣли денегъ, и въ красивой церкви хорошо пѣлъ отличный хоръ пѣвчихъ. Обрядъ, утѣшающій слабыхъ,— но какое утѣшеніе могъ дать Нинѣ, бѣдной невѣстѣ жениха, только изъ-за гроба сказавшаго ей слова любви, но и слова укора? И думала она:

„Куда же я должна вернуться, чтобы утѣшить его? Чтобы не остаться, по его откровенно милому слову, порядочною дрянью, малодушно отвернувшейся отъ свѣта?“

И казалось ей, что она знаетъ, куда пойдетъ, и чѣмъ его утѣшитъ.

Могила. Брошены послѣднія горсти земли.

Рыдали мать и невѣста,—некрасивая, старая, родная ему, съ покраснѣвшимъ носомъ, сгибалась, сбивая на бокъ шляпу,—и молодая, блѣдная, заплаканная дѣвушка, чужая ему при жизни и теперь единственно близкая ему.

И онѣ остались однѣ надъ свѣжею могилою,—одна не берегла сына, и сердце его было ей темно, и помыслы непонятны и чужды,—и другая; на нее ни разу не глянули его милыя очи, но ей открылось его сердце,—слабое, изнемогшее отъ непосильнаго бремени

земное сердце человѣка, который хотѣлъ великаго подвига и не могъ его совершить.

„Милый, — шептала она,—я знаю путь, которымъ надо итти, чтобы съ тобою быть, чтобы тебя утѣшить. Ты не могъ, ты ослабѣлъ отъ печали, тебѣ темно и холодно въ могилѣ, но ничего, не бойся, я сдѣлаю все, что было твоимъ дѣломъ. И если на твоемъ пути есть страданія, они будутъ моими“.

Смотрѣли одна на другую. Нина думала:

„Что скажу ей? Чѣмъ ее утѣшу?“

Сказала ей тихо:

— Вы сказали вчера, что Богъ не дастъ мнѣ счастія, если онъ умеръ изъ-за меня. Видитъ Богъ, что я въ этомъ нисколько не виновата. Но на что же мнѣ счастіе, если онъ, милый мой, въ могилѣ? Я не умѣла быть съ нимъ вмѣстѣ, когда онъ былъ живъ, но повѣрьте что я всегда буду вѣрна его памяти. И то, что онъ мнѣ завѣщалъ, исполню, — и его любовь будетъ моею любовью, его друзья моими друзьями, его ненависть моею ненавистью, и то, отчего погибъ онъ, понесу я.

СТРАНА, ГДѢ ВОЦАРИЛСЯ ЗВѢРЬ.

На полуистлѣвшихъ отъ времени листахъ папируса начертано много сказаній о дѣлахъ и людяхъ, давно отошедшихъ въ неизмѣнную вѣчность. И вотъ одно изъ нихъ. Оно несвободно отъ неясностей, причина которыхъ, по всей вѣроятности, въ томъ, что отъ цѣлой рукописи сохранились лишь обрывки, и смыслъ цѣлаго пришлось возстановлять, пользуясь аналогіями. Самое названіе страны невѣдомо намъ, и конецъ разсказа не сохранился. Въ тѣхъ частяхъ исторіи, которыя носятъ фантастическій характеръ, не совсѣмъ ясно, говоритъ ли древній лѣтописецъ иносказательно, или и самъ вѣритъ разсказу о чудесномъ превращеніи жестокаго юноши.

Надлежало выбрать царя. И старѣйшины рѣшили предоставить выборъ судьбѣ. Предъ наступленіемъ ночи вынесено было за городскія ворота золотое, драгоцѣнными изумрудами и сапфирами украшенное яйцо, и положено при дорогѣ въ траву. Кто придетъ изъ чужой страны, издалека, и подниметъ затаенное въ травѣ золотое яйцо, тотъ и будетъ царемъ въ городѣ. Былъ ли таковъ обычай того мѣста, или на этотъ разъ особыя гаданія указали старѣйшинамъ города такой способъ выбора, — не знаю. Но, по соображенію нѣкоторыхъ обстоятельствъ событія, предпочитаю второе объясненіе.

Блистающій и свѣтлый взошелъ надъ страною пла-

менѣющій въ небѣ Драконъ, которому люди даютъ имя дневного свѣтила, краснаго солнца, — блистающій и свѣтлый, какъ и надлежало быть тому дню, когда великій воцарился надъ тою страною владыка. Старѣйшины вышли къ городскимъ воротамъ, а за ними и весь народъ, — и всѣ въ благоговѣйномъ молчаніи ждали, кого укажетъ имъ судьба въ цари. И долго дорога была безмолвна и пустынна, словно совѣщались великіе боги или демоны той страны, и колебались долго, на комъ имъ остановить свой чудесный выборъ. И, наконецъ, рѣшили.

По дорогѣ, приближаясь къ городу, шли два отрока, едва прикрытые грубыми и рваными одеждами. Одинъ изъ нихъ былъ смуглъ, тонокъ и черноволосъ; на головѣ другого вились рыжіе кудри, сіявшіе золотомъ въ златопламенныхъ взорахъ воздымавшагося на гору небесъ Змія. Тѣло рыжаго отрока было оливковаго цвѣта, щеки его пламенѣли румянцемъ, и глаза горѣли ненасытнымъ желаніемъ. Впрочемъ, лица обоихъ отроковъ были такъ сходны, какъ будто смуглое лицо одно отразилось въ дивно пламенѣвшемъ зеркалѣ, и возникъ изъ-за чародѣйнаго стекла румяный и златоволосый двойникъ.

Весело разговаривая другъ съ другомъ и безпечно смѣясь, отроки уже миновали затаенное въ травѣ золотое яйцо. И приближались къ городскимъ воротамъ.

Гулкій тысячеустный ропотъ толпы вдругъ остановилъ ихъ. Испуганные и смущенные, стояли отроки у края пыльной дороги, и озирались вокругъ, стараясь понять, на что смотритъ и дивится все это шумное

множество. Смуглый отрокъ первый увидѣлъ яйцо. И подошелъ къ нему.

— Смотри, Метейя, какая красивая въ травѣ лежитъ игрушка,—сказалъ онъ своему другу.

И поднялъ яйцо. Рыжеволосый Метейя подбѣжалъ къ нему и, съ жадностью простирая къ смуглому отроку руки, воскликнулъ просящимъ голосомъ:

— О, миленькій Кенія, отдай, отдай мнѣ это золотое яичко! Дай, дай мнѣ его.

Засмѣялся Кенія, и отдалъ яйцо Метейѣ, говоря:

— На, возьми. Пусть оно будетъ твоимъ, если такъ тебѣ его захотѣлось.

И зарадовался Метейя. Подбрасывалъ яичко, и любовался переливною игрою многоцѣнныхъ камней на немъ.

Тогда вышли изъ воротъ старѣйшины городскіе, и поклонились отроку Метейѣ, держащему въ рукахъ золотое яйцо, и нарекли его царемъ того города.

Возникъ было въ народѣ споръ, кому быть царемъ. Нѣкоторые легкомысленные юноши говорили, что на черноокаго Кенію надлежитъ возложить царскую діадему. Говорили:

— Черноокій отрокъ поднялъ яйцо наше, и потомъ по своей волѣ далъ его рыжему и жадному мальчишкѣ. Черноокому и прекрасному Кеніи надо быть нашимъ царемъ, онъ щедръ и великодушенъ, какъ и подобаетъ быть царю.

И прекрасныя дѣвы, подстрекая къ непокорству любезныхъ имъ юношей, шептали:

— Золотую діадему на смоляночерные волосы Кеніи возложить,—какъ это будетъ красиво!

Но старые люди говорили:

— Царь не тотъ, который отдаетъ, а тотъ, который требуетъ и беретъ. Владыка нуженъ городу, а не мягкосердечный отрокъ съ женственною душою.

И когда немногіе приверженцы Кеніи вздумали упорствовать и длить безполезные, но смущающіе толпу споры, ихъ связали, обезглавили, и тѣла ихъ сожгли.

Такъ воцарился въ той странѣ Метейя. Сказалъ вельможамъ:

— Съ другомъ моимъ Кеніею шли мы долгимъ и труднымъ путемъ. Черныя очи милаго моего друга примѣтили въ густой травѣ мое царское яйцо. Вѣрнымъ и преданнымъ другомъ моимъ былъ и пребудетъ Кенія, и мѣсто его да поставится самое первое, по правой сторонѣ отъ моего царскаго, блистающаго и украшеннаго ложа. На друга моего Кенію самыя богатыя и красивыя, какія только найдутся въ городѣ, надѣньте одежды, и на руку ему дайте самое дорогое и красивое кольцо.

И сдѣлали такъ, какъ повелѣлъ царь Метейя. По правой сторонѣ отъ царя сидѣлъ отрокъ Кенія, но не возгордился. Черные глаза его мерцали, какъ двѣ погасшія, но все еще прекрасныя звѣзды. Уста его алѣли, какъ двѣ розы, какъ двѣ яркія розы, надъ которыми рыдаетъ соловей. И золотое кольцо съ алмазомъ сверкало на его рукѣ, какъ вечерняя звѣзда на багрово-дымномъ небѣ заката. И были глаза его безъ сіянія, уста его безъ улыбки, и руки его не радовались.

Черными и спокойными смотрѣлъ онъ на царя Метейю глазами, и стало грустно царю Метейѣ, и однажды спросилъ царь Метейя друга своего Кенію:

— Милый другъ мой Кенія, не завидуешь ли ты мнѣ?

Кенія склонилъ низко голову, какъ надлежитъ дѣлать тѣмъ, къ кому обращено царское высокое слово и сказалъ спокойно:

— Великій царь, я тебѣ не завидую.

Царь нахмурился, и спросилъ снова:

— Милый Кенія, не хочешь ли ты быть царемъ?

И отвѣтилъ Кенія:

— Я не хочу быть царемъ.

— Кенія, ты, можетъ быть, думаешь, — продолжалъ спрашивать царь, — что ты поднялъ яйцо и потому имѣешь право быть царемъ?

— Я поднялъ мое яйцо, — спокойно отвѣтилъ Кенія, — и подарилъ его тебѣ, царь. Теперь ты можешь владѣть имъ и царствовать спокойно, — никто не отниметъ его отъ тебя.

Замолчалъ царь Метейя, и не зналъ, что еще спросить. Но черная досада томила царское сердце. И склонился къ царю старѣйшій и хитрѣйшій изъ вельможъ, сѣдобородый Сальха, и сталъ шептать царю въ уши злыя и коварныя рѣчи.

— Великій царь, сокровище и утѣшеніе наше, — шепталъ Сальха, — твой другъ Кенія, котораго за его красоту такъ похваляютъ неразумные юноши и любострастныя дѣвы, тотъ Кенія, котораго ты, по своей царской милости, возвелъ на высочайшее мѣсто, и посадилъ по правую сторону отъ твоего пресвѣтлаго царскаго ложа, — онъ легкомысленно и дерзко называетъ своимъ яйцо, которое было у тебя въ солнечно-пламенѣющихъ перстахъ въ то время, когда мы вышли изъ-за городской ограды, и, преклонившись предъ твоимъ величіемъ и твоею дивною красотою, нарекли тебя нашимъ владыкою. Своимъ называетъ онъ яйцо, которое

могущественные боги этой страны вложили въ твои державныя руки.

Царь Метейя покраснѣлъ отъ гнѣва, и глаза его засверкали нестерпимымъ пламенемъ. Гнѣвные обратилъ онъ взоры на друга своего Кенію, но не смутился смуглый, черноокій отрокъ, и пребывалъ безмолвнымъ, неподвижнымъ и спокойнымъ, какъ черная ночь безъ зарницъ и безъ звѣздъ.

И приблизился къ царю Метейѣ другой вельможа, творящій въ той странѣ верховный судъ, мудрый и злой Ханна, преклонился предъ царемъ, и сталъ шептать ему въ уши столь же злыя и коварныя рѣчи, какъ и рѣчи коварнаго Сальхи.

— Великій царь, красотою своею затмевающій прекраснѣйшія свѣтила небесныя, свѣтлымъ разумомъ своимъ и дивными доблестями превзошедшій мудрѣйшихъ и славнѣйшихъ въ странѣ нашей и въ иныхъ ближнихъ и дальнихъ странахъ, — такъ шепталъ царю злой Ханна, — другъ твой Кенія, возведенный тобою и щедро награжденный за ничтожную услугу, дерзаетъ думать, а, можетъ быть, даже и говорить, что онъ лучше тебя, потому что онъ отдалъ тебѣ твое царское яйцо, и такимъ образомъ превзошелъ тебя въ щедрости и великодушіи. Другъ твой готовъ стать твоимъ врагомъ, великій государь. Воистину, жестокаго достоинъ наказанія тотъ, кто злоумышляетъ противъ великаго нашего царя.

Дрожа отъ гнѣва, сжимая царскій посохъ въ трепетныхъ рукахъ, густо покрытыхъ рыжими волосами, царь Метейя спросилъ друга своего Кенію:

— Скажи мнѣ, Кенія, кого изъ насъ двоихъ считаешь ты лучшимъ и болѣе достойнымъ почитанія?

— Великій царь,—спокойно отвѣтилъ Кенія,—люди почитаютъ тебя, какъ своего владыку, и поклоняются тебѣ, и я съ ними. Я — твой вѣрный слуга и рабъ, и пребуду тебѣ неизмѣнно вѣрнымъ и послушнымъ.

Въ гнѣвѣ царь Метейя всталъ, и воскликнулъ:

— Боги возвели меня на царскій престолъ, потому что я лучше всѣхъ людей въ этой странѣ и во всѣхъ другихъ, и лучше тебя.

И отвѣтилъ Кенія:

— Царь, ты и я—отроки, ничего еще не совершившіе на землѣ, достойнаго похвалы или порицанія. Кто изъ насъ лучше другого, никто этого не знаетъ и не скажетъ.

— Такъ, — удивляясь дерзости своего друга, тихо сказалъ царь Метейя,—и въ самомъ дѣлѣ не думаешь ли ты, что ты лучше меня, своего царя и владыки?

— Великій царь,—возразилъ Кенія,—я этого не думаю. Я думаю, что мы оба одинаковы. Не даромъ выросли мы вмѣстѣ, и такъ похожи одинъ на другого лицомъ. Когда на румяной зарѣ утренней или при багряно-красномъ небѣ заката я наклоняюсь къ ручью, чтобы утолить мою жажду, мнѣ кажется, что твое, о царь, лицо съ привѣтливою улыбкою наклоняется ко мнѣ, и твои губы тянутся навстрѣчу моимъ для сладостнаго братскаго цѣлованія. Различаясь отъ меня цвѣтомъ волосъ и кожи, пламенѣя румянцемъ, который у меня скрытъ подъ смуглымъ цвѣтомъ моего тѣла, ты такъ похожъ на меня, какъ будто отраженное въ пламенѣющемъ зеркалѣ мое изображеніе. Ты прекрасенъ, какъ я, и такъ же, какъ я, щедръ, милостивъ и великодушенъ.

И тогда всѣ вельможи подняли шумный, негодую-

щій крикъ, обвиняя Кенію въ томъ, что онъ осмѣлился приравнять себя къ великому владыкѣ. Яростью наполнилось сердце царя Метейи, и онъ приказалъ нещадно бичевать друга своего Кенію смолистыми, гибкими плетьми.

Когда голый и связанный лежалъ передъ царемъ Кенія, стеня и воня отъ нестерпимой боли, и багровыми полосами покрывалось его стройное, прекрасное тѣло, и горячія капли его крови брызгали въ лицо царю Метейѣ, въ это время свирѣпая радость истязаній вошла въ сердце юнаго царя,—и онъ громко смѣялся и радовался воплямъ и мученіямъ друга своего Кеніи. И все множество предстоящихъ смѣялось вмѣстѣ съ нимъ.

Возопилъ тогда Кенія:

— О, великій царь, вспомни, что это я поднялъ и отдалъ тебѣ твое царское яйцо, — вспомни, и сжалься надо мною!

Въ отвѣтъ ему закричалъ дикимъ, громкимъ голосомъ разъяренный царь:

— Помню, Кенія, все помню, — и чтобы ты впередъ не величался предо мною, вотъ, повелѣваю вѣрнымъ слугамъ моимъ засѣчь тебя до смерти.

Исполняя повелѣніе царя, били черноокаго Кенію до тѣхъ поръ, пока не затихли его стоны, — и потомъ вынесли его тѣло, и бросили у порога царскаго чертога.

Съ того дня ненасытною жестокостью напиталось сердце царя Метейи, и радостны стали ему вопли истязуемыхъ. Всякаго, кто говорилъ слова сожалѣнія о миломъ отрокѣ Кеніи, или слова укоризны жестокому и неблагодарному царю, всякаго приказывалъ онъ при-

водить къ подножію его престола и мучить до смерти. И веселился.

Потомъ, пресыщенный зрѣлищемъ изуродованныхъ тѣлъ, опьяненный запахомъ горячей, изобильно пролитой крови, упивался онъ винами и забавлялся съ плясуньями, очаровательницами змѣй, гадательницами и другими распутными женами и дѣвами. Вельможи и старѣйшины городскіе не останавливали его, и пировали съ нимъ вмѣстѣ, радуясь, что царь не вникаетъ въ дѣла правленія и не препятствуетъ имъ, алчнымъ и жестокосерднымъ, обогащаться насчетъ вдовъ, сиротъ и голодающихъ отъ неурожая. Развратные сыновья вельможъ пировали съ царемъ, и забавляли его своимъ безстыдствомъ.

Настали тогда въ странѣ той дни великаго плача и смятенія. Жены, дѣвы и юноши тайно сходились въ лѣсахъ по ночамъ, сожигали богамъ многія многоцѣнныя жертвы, и страшными чарами вызывали и заклинали умерщвленнаго отрока Кенію. И возникъ изъ могильнаго мрака умерщвленный жестокими черноокій отрокъ.

Однажды, когда царь пировалъ съ своими вельможами и неразумными юношами, пришелъ къ нему Кенія. И ужаснулись пирующіе.

На вечернемъ небѣ догорала быстрая заря. Долины полны были мглистымъ туманомъ. Совсѣмъ бѣлая на молочно-аломъ заревѣ заката свѣтилась первая звѣзда, — и откинулась вдругъ тяжелая завѣса царской двери, и темный на свѣтломъ заревѣ зари явился и сталъ черноокій, черноволосый, весь смуглый, въ бѣлой короткой одеждѣ, обнажавшей прекрасныя руки и ноги, Кенія. Кто-то, безсмысленно-пьяный, еще горланилъ, валяясь

щекою на столъ, — но безмолвіемъ и ужасомъ зачарованы были обращенные на Кенію взоры пировавшихъ. Звякнула о кипарисныя доски пола выпавшая изъ чьей-то руки золотая чаша, и покатилась тихо, дугообразный чертя по полу путь, между царемъ и Кеніею, и темная, багряная, какъ кровь, струя вина коснулась нагихъ ногъ возставшаго изъ могильнаго мрака отрока.

Тихо подошелъ Кенія къ царю, и сѣлъ рядомъ съ нимъ, по правую сторону, на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ раньше, и куда еще никого не посадилъ царь.

Царь спросилъ, трепеща отъ страха и отъ гнѣва:

— Ты живъ, Кенія?

И отвѣтилъ ему Кенія:

— Я всталъ, и пришелъ къ тебѣ. Нѣкогда вмѣстѣ съ тобою шелъ я въ этотъ городъ, и были мы оба радостны и невинны. Потомъ, отдавъ тебѣ мое яйцо, рядомъ съ тобою сидѣлъ я, незнающій и простодушный. Но вотъ ярость высокой царской власти распалила твое сердце, и раздѣлила насъ, и тяжкія по твоей волѣ перенесъ я муки. Нынѣ пришелъ я къ тебѣ знающій и мудрый и надѣленный силою, которой у тебя нѣтъ, хотя ты и царь великой страны. Я поднялъ многоцѣнное яйцо, положенное благими и мудрыми, и охраняемое неразумными и злыми. Оно мое, и мое все то, что соединено съ его обладаніемъ. Но нынѣ, извѣдавъ, какъ яритъ человѣка высокая власть, я, Кенія, тотъ, на кого дивно похожъ лицомъ царь Метейя, я не хочу быть царемъ. Да не будетъ, о, великій царь, между нами предмета раздѣленія и раздора. Подѣлимся мирно,—ты оставь себѣ многоцѣнные изумруды и сапфиры царской власти, а мнѣ отдай тяжелое золото, моими руками поднятое, моею кровью омытое.

Дикій гнѣвъ зажегъ царскіе взоры, — и возопилъ царь:

— Крамольную слышу рѣчь, мятежный вижу взоръ непокорнаго раба. Гдѣ же вы, мои вѣрные слуги? Возьмите мятежника, многими измучьте его муками, бейте его передъ очами моими, бейте его гибкими смолистыми плетьями и кнутами изъ воловьей кожи, залейте его горло растопленнымъ свинцомъ, вырвите его черные колдовскіе глаза.

Такъ все сдѣлали, какъ повелѣлъ жестокосердно усерднымъ рабамъ ихъ жестокій царь. Страшнымъ голосомъ вопилъ истязуемый отрокъ. Выше перистыхъ облаковъ возносились его пронзительные вопли. Выше небесъ возлетали бы они, если бы надъ землею простирались небеса.

Замучили до смерти, выволокли изуродованный трупъ за городскую ограду, и бросили на гноище. А вдалекѣ въ это время, чуя свѣжую кровь, выли трусливые шакалы.

Пѣли въ царскомъ чертогѣ хриплыми съ перепоя голосами веселыя и непристойныя пѣсни. Плясали передъ царемъ голыя блудницы. Царь хохоталъ, и тонкимъ хлыстомъ подстегивалъ плясуній, чтобы вертѣлись проворнѣе. Полупритворные визги голыхъ блудницъ радовали его.

И опять длились дни жестокостей и злодѣяній. И опять въ глухихъ лѣсахъ заклинали страшными ночными чарами замученнаго отрока. И опять возникъ Кенія, и опять пришелъ въ царскій чертогъ. Изрубили его на куски, и бросили его собакамъ.

И когда опять пришелъ Кенія, сожгли его вмѣстѣ съ тысячью плакавшихъ о немъ юношей и дѣвъ. Всѣхъ

загнали въ одинъ домъ, обложили его сухимъ хворостомъ, облили хворостъ смолою, и зажгли. Радостно-яркое высоко взметнулось пламя, обливая багровою кровью ночныя облака, и дикій вопль тысячи сожигаемыхъ разносился далеча окрестъ, пугая свирѣпыхъ тигровъ, рыщущихъ въ прибрежныхъ тростникахъ въ поискахъ за живою добычею. А люди, угождая свирѣпому своему владыкѣ, плясали вокругъ объятаго пламенемъ дома.

Но опять пришелъ Кенія. И ужаснулся разъяренный царь. Спросилъ непрестанно-возстающаго отрока:

— Или безконечными хочешь ты сдѣлать твои и мои муки?

Улыбаясь, возразилъ Кенія:

— Твоя воля, великій царь. Отдай мнѣ мое золото, и будешь покоенъ.

— Не отдамъ,—возопилъ царь,—снова и снова предамъ тебя несказаннымъ мученіямъ, доколѣ не утомишься страданіями, доколѣ не уйдешь въ вѣчную тьму!

— Царь Метейя,—возразилъ Кенія,—уже не могу я сойти съ того круга непрестанныхъ возвращеній къ тебѣ, на который поставили меня верховныя силы. Или отдай мнѣ золото моего яйца, или своими зубами загрызи меня, пожри меня, какъ дикій звѣрь пожираетъ добычу, которую подстережетъ въ пустынномъ мѣстѣ. И станешь тогда звѣремъ, но зато побѣдишь меня, и къ тебѣ, звѣрю, уже я не приду никогда.

Поникъ головою царь Метейя. Долго думалъ. Наконецъ сказалъ:

— Да будетъ такъ. Я—царь, и мнѣ надлежитъ побѣдить тебя, какою бы то ни было цѣною. Лучше быть

звѣремъ, побѣждающимъ и торжествующимъ, чѣмъ человѣкомъ, который уступаетъ и отдаетъ свое.

Засмѣялся черноокій Кенія. Тогда дивное превращеніе въ одинъ мигъ свершилось съ царемъ. Все тѣло его покрылось густою рыжею шерстью, такого же цвѣта, какими были у Метейи волосы. Гибкимъ, какъ у бенгальскаго тигра, стало тѣло Метейи, опустилось на четвереньки,—взметнулся внезапно выросшій напряженный хвостъ,—острые когти явились на рукахъ и на ногахъ, обратившихся въ огромныя, страшныя лапы. Прекрасная страшно измѣнилась голова: челюсти стали огромны, и ужасные во рту засверкали клыки, бѣлые, изогнутые, острые. Зеленые огни зажглись въ округлившихся глазахъ Метейи. Яростно вопіющій голосъ царя Метейи сталъ рыканіемъ дикаго звѣря, наводящимъ ужасъ на отважнѣйшихъ мужей. Проворнымъ, могучимъ прыжкомъ бросился обращенный въ звѣря Метейя на Кенію, и, радостно мурлыча и ворча, сталъ пожирать его сладкую плоть, дробя зубами его кости, и трепетно прядали косматыя звѣриныя уши, внимая послѣднимъ воплямъ Кеніи.

Пожралъ друга своего царь Метейя, обратившійся въ звѣря. Вельможи и старѣйшины радовались и славили царя Метейю. Говорили они, упоенные злобною радостью:

— Дивное чудо сотворили великіе боги, въ знакъ милости къ нашей странѣ. Возлюбленному царю нашему Метейѣ дали они грозный обликъ звѣря, чтобы его страшные когти и могучія челюсти сокрушали кости его враговъ, какъ хрупкій, хрустящій тростникъ.

И водили звѣря по улицамъ, на страхъ трепещущимъ врагамъ. Блистающею діадемою увѣнчана была голова

звѣря, алмазное ожерелье висѣло на его шеѣ, яркіе яхонты и блистающіе изумруды сверкали въ рыжей звѣриной шерсти. Благоуханными цвѣтами нагія дѣвы осыпали путь звѣря, — и облитъ былъ жаркою кровью его страшный слѣдъ. Народъ повергался ницъ передъ высокимъ звѣремъ, и звѣрь выбиралъ себѣ добычу среди покорно-склоненныхъ, и нѣжныя пожиралъ тѣла юношей и дѣвъ.

Теменъ конецъ повѣствованія. Дѣва съ горящимъ углемъ въ груди (можетъ быть, слѣдуетъ читать „дѣва съ пламеннымъ сердцемъ") умертвитъ звѣря, — такъ обѣщали ночныя гаданія въ тайномъ лѣсу. Но былъ ли умерщвленъ звѣрь? Освободились ли изъ-подъ ужасной власти свирѣпаго звѣря трепетавшіе передъ нимъ люди? Невѣдомою осталась судьба страны, гдѣ воцарился звѣрь, и самое имя страны поглощено забвеніемъ.

ДВА ГОТИКА.

I.

Лѣтняя ночь достигла успокоеннаго своего срока. Оба мальчика, Готикъ и Лютикъ, гимназисты, тихо спали.

Внезапно что-то разбудило Готика. Какой-то робкій шорохъ за дверью. Готикъ открылъ глаза, встрепенулся,—и сна какъ не бывало.

Было почти совсѣмъ свѣтло. Тихо, свѣтло,—и странно. Бѣлая лѣтняя ночь, сѣверная ночь, вливалась тихимъ и ровнымъ свѣтомъ въ незавѣшанное окно. Тихо на своей кровати дышалъ спящій Лютикъ, повернувшись къ стѣнѣ, такъ что виденъ былъ его гладко остриженный затылокъ.

Готикъ потянулся, всталъ на колѣни на своей постели, и посмотрѣлъ къ окну.

Виднѣлось за окномъ блѣдное небо, деревья. Бѣлый прозрачный паръ, еле видимый, за деревьями означалъ мѣсто рѣки. Деревья стояли, совсѣмъ не двигаясь, и чутко слушали, какъ журчала рѣка, быстрая и мелкая, переливаясь по камнямъ. Да еще слышались чьи-то легкіе шаги.

Готикъ спрыгнулъ съ постели. Бодрая готовность встрѣтить что-то необычное схватила его,—унаслѣдованная отъ незапамятныхъ предковъ ночная отвага опасныхъ приключеній. Подбѣжалъ къ окну.

Сердце его вдругъ замерло, остановилось на краткій, неощутимо-краткій мигъ, и забилось быстро, быстро. И увидѣлъ онъ въ саду себя самого, тутъ-же, подъ окномъ.

Бѣлая блуза, ременный поясъ, гимназическая фуражка въ бѣломъ чехлѣ, его сапоги съ заплаткою на лѣвомъ, черные брюки,—еще незачиненная прорѣха слѣва внизу,—все это въ мигъ примѣтили и признали зоркіе Готины глаза.

Другой Готикъ тихонько крался изъ сада. Онъ пригибался, прячась за кусты,— вотъ шмыгнулъ за калитку,—исчезъ за деревьями, на тропинкѣ, что круто спускалась къ рѣкѣ.

Готикъ выглянулъ за дверь. Тамъ всегда оставляли мальчики свою одежду и обувь, чтобы утромъ служанка Настя почистила. Теперь Лютины всѣ вещи на мѣстѣ,—Готиныхъ не было.

Готикъ закрылъ дверь, на себя глянулъ,—и въ непобѣдимомъ обаяніи сонливости не узналъ себя. Его мысли заволакивались дремою. Въ тѣлѣ было покойно и словно пусто. Онъ легко и слабо удивился.

— Куда же это я иду?—подумалъ онъ.

Вдругъ сонъ опять одолѣлъ его. Даже не помнилъ, какъ забрался подъ одѣяло. Крѣпко спалъ до поздняго утра, пока не разбудилъ шаловливый Лютикъ.

II.

Утромъ отрывочныя воспоминанія томили Готика.

Что-то было ночью. Не то во снѣ, не то въявь. Или мечталось.

Шумливый и шаловливый, слишкомъ дневной, Лю-

тикъ шалилъ, какъ всегда, приставалъ, надоѣдалъ и мѣшалъ вспомнить, и шутилъ, шутилъ и смѣялся, смѣялся и шутилъ безконечно.

Но Готикъ все-же мало-по-малу припомнилъ, куда и зачѣмъ ходилъ онъ, второй, ночной Готикъ, въ то время, пока первый, обыкновенный и всегдашній, лежалъ въ постели тяжелымъ, безмысленно-дышащимъ тѣломъ.

III.

Въ замкѣ тихомъ и волшебномъ тамъ, вдали, за очарованною рощею, обитаетъ нѣжная царевна Селенита, легкій призракъ лѣтнихъ сновъ.

Дивный замокъ Селениты весь пронизанъ луннымъ свѣтомъ.

Отуманенною дорогою, по долинѣ, гдѣ мечтаютъ полуночные цвѣты, Готикъ проходилъ тихонько, легкою тѣнью, еле слышный, еле видный, до травы едва касаясь. И пришелъ къ царевнѣ дивной, къ милой Селенитѣ.

Тихая музыка еле слышно доносилась издалека. Лунная царевна Селенита нѣжною улыбкою встрѣтила Готика.

Ея голосъ звенѣлъ, какъ струя въ ручьѣ.

Какъ струя въ ручьѣ, какъ нѣжный звонъ свирѣли, звучалъ тихій голосъ царевны Селениты.

Вся она была нѣжная, воздушная, и такая легкая, что казалась прозрачною.

Звѣзды горѣли не то на ея зеленовато-бѣлой одеждѣ, не то за нею, и просвѣчивали сквозь ея тѣло.

И улыбалась, и чаровала. И говорила нѣжнымъ свирѣльнымъ голосомъ, и ароматы струились, сплетались съ журчаніемъ ея свирѣльной рѣчи.

IV.

А Лютикъ надоѣдалъ шутками, безконечными, скучными, назойливыми.

И все-то Лютикъ каламбуритъ! досадливо думалъ Готикъ.—Какъ ему не надоѣстъ! Не диво, что мама на него сердится.

Въ самомъ дѣлѣ, это ужасно надоѣдливо.

Что ему ни скажи, сейчасъ-же начинается выворачиванiе и пригонка словъ.

А вотъ отцу это почему-то очень нравится. Отецъ и самъ веселый. Онъ часто поощрительно говоритъ Лютику:

— Ну-т-ка, Илютка, валяй хорошенько.

И Лютикъ старается, придумываетъ.

Глупо.

И до того это навязчиво, что Готикъ иногда и самъ начиналъ каламбурить.

Тогда Лютикъ восторженно визжалъ, кричалъ, и прыгалъ:

— Да онъ совсѣмъ сталъ, какъ я, такъ что и не различишь, кто это,—онъ или я,—онъ—Илiя или я Илiя.

И такъ приставалъ къ Готику:

— Ты—Илiя, или я—Илiя,—что тотъ начиналъ сердиться не на шутку.

До драки доходило порою дѣло. Мальчишки!

V.

Людмила Яковлевна, Лютина и Готина мать, сегодня утромъ поднялась рано противъ обыкновенiя.

Встала вмѣстѣ съ мужемъ,—онъ уѣзжалъ въ городъ на службу.

Въ другіе дни она вставала уже послѣ его ухода, когда и мальчики подымались.

Проводила мужа до калитки, пришла въ кухню, видитъ: уже плита растоплена жарко,—а вовсе и не надо такъ рано,—и Готина одежда сушится на верёвкѣ у огня,—совсѣмъ вся мокрая,—и сапоги въ грязи.

Людмила Яковлевна встревожилась.

— Что это такое, Настя?—спросила она.

— Загваздалъ чего-й-то Готикъ и сапоги и одежду,—со смѣхомъ сказала Настя.

— Да вѣдь вечеромъ все на немъ было сухое,—тревожно говорила Людмила Яковлевна.

— Да ужъ не знаю, гдѣ они загваздались.

Настя смѣялась какъ-то странно,—не то лукаво, не то смущенно. Отъ этого Людмилѣ Яковлевнѣ стало жутко.

— Ты знаешь что-нибудь?—пугливо спросила она.

— Да нѣтъ, барыня, право нѣтъ. Что мнѣ знать-то?—отговаривалась Настя.

— Готикъ ходилъ куда-нибудь?

— Не знаю, барыня. Право, не знаю.

VI.

Когда мальчики пили утренній чай, Людмила Яковлевна спросила:

— Готикъ, куда ты бѣгалъ ночью?

Готикъ покраснѣлъ, и сказалъ:

— Никуда не бѣгалъ. Я спалъ.

Но сказалъ такъ, словно виноватый,—неувѣренно, съ запинкою.

— У тебя сапоги мокрые,—сказала Людмила Яковлевна.

— Не знаю, я спалъ,—повторилъ Готикъ.

— Готикъ сегодня вѣжливый,—сказалъ Лютикъ.— есъ-еръ прибавляетъ: я-съ, говоритъ, палъ,—а куда палъ, не говоритъ.

— Вовсе не остроумно,—сказала Людмила Яковлевна досадливо.

Она больше не спрашивала Готика.

Но весь день провела въ жестокой тревогѣ.

Ждала мужа.

VII.

А Готикъ мечталъ о лунной царевнѣ, милой Селениточкѣ.

— Она Селениточка.

— А на селѣ ниточка,—дразнилъ кто-то Лютинымъ голосомъ.

И мечты о раздвоеніи весь день сладко волновали его.

Онъ думалъ:

„Какъ хорошо, что есть иная жизнь, ночная, дивная, похожая на сказку, другая, кромѣ этой дневной, грубой, солнечной, скучной!

Какъ хорошо, что можно переселиться въ другое тѣло, раздвоить свою душу, имѣть свою тайну!

Таить отъ всѣхъ.

И никто никогда не узнаетъ.

Ночью все иное.

Дневные спятъ, лежатъ неподвижными тѣлами,—и

тогда исходятъ иные, внутренніе, которыхъ днемъ мы не знаемъ“.

VIII.

Готикъ стоялъ на берегу рѣки, смотрѣлъ на воду, какъ она все бѣжитъ, журчитъ, и мечталъ о Селенитѣ, какъ она улыбается и говоритъ.

Подошелъ Лютикъ.

— Готикъ,—сказалъ онъ,—ты грамматику забылъ.

— Отстань,—досадливо отвѣтилъ Готикъ.

— Правда. Ну вотъ, я тебѣ докажу: у свиньи хвостикъ, а у лошади?

— Хвостъ,—отвѣтилъ Готикъ.

— У стола ножки, а у тебя?—допрашивалъ Лютикъ.

— Ноги.

— Мальчикъ читаетъ книжку, а студентъ?

— Книгу.

— Ванечка надѣлъ рубашку, а Иванъ?

— Рубаху.

— Ванька надѣлъ сорочку, а Иванъ?

— Сороку,—съ размаху отвѣтилъ Готикъ.

Засмѣялись оба.

XI.

Когда отецъ, всегда веселый и говорливый,—въ него былъ Лютикъ,—возвращался изъ города со службы, Людмила Яковлевна вышла ему на встрѣчу на станцію, что рѣдко дѣлала въ другіе дни. По дорогѣ домой она озабоченно говорила:

— Можешь себѣ представить, Александръ Андреевичъ, Готикъ нынче ночью куда-то бѣгалъ, а куда,

не говоритъ. Говоритъ, что спалъ. Какъ хочешь, Саша...

И она заплакала.

Александръ Андреевичъ посвисталъ, махнулъ рукой.

— Глупости!—сказалъ онъ сиповатымъ голосомъ. Куда ему бѣгать? Какая нибудь глупая фантазія. Просто на рѣку ходилъ.

— Это меня такъ безпокоитъ,— упавшимъ голосомъ сказала Людмила Яковлевна.

— Глупости!—повторилъ Александръ Андреевичъ.— И не говоритъ, куда ходилъ?

— Да не говоритъ же,—плачевно сказала Людмила Яковлевна.

— А вотъ я его спрошу хорошенько, такъ скажетъ,— сердито сказалъ отецъ.

Было жарко, и ему было досадно, что надо сердиться, чего онъ не любилъ.

X.

За обѣдомъ разговоръ шелъ безпокойный и неровный. И отецъ и мать значительно и внимательно поглядывали на мальчиковъ. Людмила Яковлевна нѣсколько разъ заговаривала о дачныхъ ворахъ. О томъ, что Настя иногда забываетъ запереть двери. Что воры легко могутъ влѣзть и въ окно, если оно не закрыто на задвижку.

Готику было неловко и тоскливо.

Лютикъ одинъ былъ веселъ, и шутилъ, какъ всегда.

— За Настасьей всегда надо смотрѣть, чтобы двери затворяла,—ворчалъ Александръ Андреевичъ.

— На то она и Настя жъ, чтобы держать двери настежъ,— сказалъ Лютикъ.

Но, къ удивленію обоихъ мальчиковъ, отецъ сердито сказалъ:

— Заткнись. Ничего нѣтъ смѣшного.

Лютикъ смѣшливо посмотрѣлъ на отца и мать.

„Что они дуются? подумалъ онъ.—Ужъ не поругались ли дорогою?“

И подумалъ, что надо пошутить о чемъ-нибудь постороннемъ, не домашнемъ. Припомнивъ одинъ изъ намеднишнихъ разговоровъ съ однимъ изъ своихъ безчисленныхъ знакомыхъ, смѣшливо фыркнулъ и сказалъ:

— Готикъ, треугольникъ нарисованъ, а въ немъ глазъ. Угадай, что такое.

— Ну, кто этого не знаетъ!— сказалъ Готикъ.—Всевидящее око.

— Вотъ и не угадалъ. Николай Алексѣевичъ мнѣ разсказывалъ, что это онъ въ одной церкви видѣлъ, въ деревнѣ,—такое изображеніе на стѣнѣ сдѣлано, и подпись: глазъ вопіющаго въ пустынѣ.

Всѣ засмѣялись.

— Это ты самъ сочинилъ?—недовѣрчиво спросилъ отецъ.

— Ну вотъ, спроси самъ у Николая Алексѣевича,—увѣрялъ Лютикъ.

Отецъ вдругъ опять нахмурился.

— Вотъ за вами нуженъ глазъ да глазъ,—сурово сказалъ онъ.

Помолчали.

Лютикъ спросилъ:

— Готикъ, какъ зовутъ предводителя современныхъ Гвельфовъ?

Готикъ подумалъ.

— Ну, это просто,—сказалъ онъ.

— А ну, скажи!

— Того.

— Молодецъ!

— Объясни,—хмуро сказалъ отецъ.

— Очень просто,—сказалъ Готикъ,—если есть Гвельфы, то есть и Гибелинги.. А Лютикъ ужъ конечно отъ слова гибель это слово произведетъ. Русскіе моряки довели свой флотъ до гибели, вотъ они и Гибелинги.

— Ерунда,—сказалъ отецъ.

Но засмѣялся.

— Цѣлый мѣсяцъ сочинялъ,—сказалъ онъ.

— Ничего не мѣсяцъ,—краснѣя сказалъ Лютикъ.— А зато я ни разу не сказалъ, что Того—не того. Сколько стишковъ было на эту глупость.

— Ну, такъ ты на генерала Ноги что-то глупое придумалъ. Нутка,—оживился отецъ.

— Ну это просто, у японцевъ есть ноги, они войдутъ въ Портъ-Артуръ.

Посмѣялись,—и опять отецъ хмуро сказалъ:

— Иныя ноги туда бѣгаютъ, куда и не надо.

Неловкое молчаніе опять прервалъ Лютикъ.

— Готикъ, тебѣ все Настя положила?—спросилъ онъ.

— Все, отвяжись.

— И ножъ да вилка есть?

— Есть, отстань.

— Ножъ давилка есть, а ножъ рѣзалка есть?

— Не ерунди!—крикнулъ Готикъ.

—Придумываешь пустяки,—сердито сказалъ отецъ.— Никакой связи нѣтъ въ твоихъ дурачествахъ.

Лютикъ не смущаясь отвѣтилъ:

— Вотъ то-то и весело, что нѣтъ связи. Не связано, свободно. А гдѣ логическая связь, тамъ тоска, тощища.

Тоска таскать все отъ причины къ слѣдствію. А вотъ такъ-то лучше, какъ хочу, такъ и верчу. Когда разсуждаю дѣльно, то чувствую тосчинцу, словно тазъ чинцу, никому ненужный тазъ.

— Старо, братъ,—сказалъ отецъ.—Это еще когда я учился, у насъ былъ учитель, который любилъ мудреныя диктовки давать. Вотъ въ такомъ же родѣ была одна диктовка: Тазъ куя, сказалъ кузнецъ, тоскуя: Задамъ же людямъ таску я, за то, что я тоскую.

Мальчики смѣялись.

XII.

Наконецъ Александръ Андреевичъ спросилъ, собравши всѣ силы своей строгости:

— Ты куда это, Георгій, нынче ночью бѣгалъ?

Готикъ покраснѣлъ. Теребя салфетку, сказалъ жалующимся голосомъ:

— Да никуда, папа, право. Это мама я не знаю почему думаетъ. Это она потому, что сапоги сырые. Ну чтожъ,—вчера сыро же вечеромъ было. Ну, мы возлѣ рѣки ходили. Ну, по водѣ.

— Ночью не смѣть уходить!—строго сказалъ Александръ Андреевичъ..

— Ну, не буду уходить,—хмуро отвѣтилъ Готикъ.

— И пожалуйста не нукай,—раздражаясь, говорилъ отецъ.—Дурацкія привычки. Будешь бѣгать, розгами выдеру.

Готикъ обидчиво покраснѣлъ и тихо промолвилъ:

— Это изъ мрачныхъ временъ дикаго средневѣковья.

Отецъ засмѣялся.

— Поговори ты у меня!—погрозилъ онъ полушутя, полусердито.

Лютикъ сказалъ весело:

— Насъ драть нельзя, а то мы забастуемъ.

— Стачку устроимъ,—поддержалъ Готикъ.

— Обоихъ и выдеру,—дразнилъ отецъ.

— А мы обструкцію устроимъ,—кричалъ Лютикъ.

— Подадимъ тебѣ петицію.

— Или побѣжите въ полицію?

— Ну ужъ нѣтъ, на это я не согласенъ,—живо отвѣтилъ Лютикъ,—хоть пополамъ перепори, а къ городовымъ не пойду.

Настя перемѣнила блюдо. Заслушалась, локтемъ задѣла стаканъ,—стаканъ скатился на полъ. Не разбился, упалъ счастливо.

— Настя, вы со стола сталканъ сталкали,—сказалъ Лютикъ.

— Надсмѣшники!—крикнула Настя, и съ хохотомъ убѣжала.

Подали рисовую кашу.

— Готикъ, да неужели ты и кашу станешь ѣсть?—спросилъ Лютикъ.

— Ну, да, и кашу стану ѣсть,—съ досадой сказалъ Готикъ,—тебѣ одному, что-ли?

— Смотри,—остерегающимъ голосомъ говорилъ Лютикъ,—и каши поѣшь, икать станешь.

— Отстань,—кричалъ Готикъ, и сердясь и хохоча.—Какой ты дуракъ! Все глупости придумываешь.

XII.

Послѣ обѣда Александръ Андреевичъ никуда не пошелъ. Онъ долго сидѣлъ въ бесѣдкѣ у забора, глядя на рѣку, и курилъ. Потомъ пошелъ къ женѣ.

— Знаешь, Люба,—сказалъ онъ тихо,—это начинаетъ меня безпокоить.

Людмила Яковлевна заплакала.

— Ну, ну, не плачь, мы это узнаемъ,—говорилъ Александръ Андреевичъ,—но куда онъ могъ бѣгать?

— Такъ легко утонуть, — всхлипывая, говорила Людмила Яковлевна.—Каждый годъ кто-нибудь тонетъ.

XIII.

За вечернимъ чаемъ опять говорили о томъ, что надо запирать на ночь двери. Настѣ напоминали Мальчикамъ и отецъ и мать повторяли,—оконъ открытыми не держать.

На-дняхъ гдѣ-то по-сосѣдству обворовали двѣ дачи,—украли только что выстиранное бѣлье, и все, что было на ледникѣ.

Вспоминали сегодня этотъ случай.

Лютикъ говорилъ съ досадою:

— Мама повѣстку получила, что ихъ сегодня обокрадутъ.

XIV.

Вечеромъ послѣ чая, когда уже мальчики пошли спать, Людмила Яковлевна и Александръ Андреевичъ опять, въ спальнѣ, заговорили о ночномъ приключеніи. Затворились, чтобы кто не вошелъ изъ мальчиковъ. Говорили тихонько.

Людмила Яковлевна сидѣла на стулѣ около кровати и причесывалась на ночь. Александръ Андреевичъ стоялъ передъ нею, нерѣшительно почесывая бритыя щеки.

Тускло горѣла свѣча.

— Ты спрячь его сапоги, — посовѣтовалъ Александръ Андреевичъ.

— Онъ Лютины надѣнетъ, — тоскливо отвѣтила Людмила Яковлевна.

— Ну, и Лютины спрячь.

— Этимъ развѣ удержишь, — уныло сказала Людмила Яковлевна. — Онъ и босикомъ убѣжитъ, — что ему! Ужъ коли повадился.

— А надо поймать, — досадливо сказалъ Александръ Андреевичъ.

— Да, поймаешь!

— Ну, не поймаемъ, такъ по слѣдамъ уличимъ и прослѣдимъ, куда онъ ходилъ.

— Ну, гдѣ въ травѣ слѣды видѣть! — безнадежно сказала Людмила Яковлевна.

— Не все трава.

— Все-таки спрячу, — сказала Людмила Яковлевна.

Пошла въ переднюю. Потихоньку.

— Ты тутъ останься, — шепнула она мужу, — настучишь сапогами, а я въ туфляхъ.

XV.

Мальчики улеглись. Настроенные разговорами на тревожный ладъ, они замкнулись въ своей горницѣ.

Лютикъ, какъ легъ, такъ и заснулъ.

Готикъ укладывался медленно. Прислушивался.

Гдѣ-то недалеко играли и пѣли. Подъ нѣжный перезвонъ переливныхъ звуковъ началъ засыпать и Готикъ. Сладостное обнимало его предчувствіе милаго сна.

Вдругъ, заслышавъ легкій шорохъ подъ своею дверью, Готикъ встрепенулся.

Полежалъ, вслушиваясь.

Было не то радостно, не то странно. Жуткое ожиданіе.

Слышно было, что кто-то шевелился за дверью, и чьи-то легкія за дверью движенія словно отдавались въ Готиномъ сердцѣ, волнуя кровь.

Потрогали дверную ручку.

Дверь зашаталась, слегка колотясь о задвижку, но не поддалась.

Ушли тихонько.

Готикъ лежалъ и чутко вслушивался.

XVI.

Людмила Яковлевна принесла въ спальню Лютины и Готины сапоги.

— Заперлись, — шопотомъ сказала она. — По всему видно, что опять собирается итти. Сегодня, можетъ быть, оба отправятся. Пусть босикомъ по сырой землѣ прогуляются.

— Одежда? — спросилъ отецъ.

— Костюмы на мѣстѣ. Да это что, — эти сорванцы и нагишемъ убѣгутъ, коли очень захочется.

— Надо подождать. Изъ окна видно будетъ. Или въ саду побыть?

— А если они черезъ дворъ побѣгутъ?

Остались ждать въ спальнѣ.

XVII.

Опять услышалъ Готикъ, что кто-то подошелъ къ двери.

И опять слышалъ онъ шорохъ, долгій, осторожный,—словно кто-то шарилъ по полу, искалъ чего-то.

Толкнулись въ дверь. Досадливый шопотъ... Удаляющіеся легкіе шаги...

Скрипнула гдѣ-то дверь, ступеньки зашатались.

Готикъ еще полежалъ. Прислушался. Тихо.

Вдругъ вскочилъ. Сердце сильно билось. Подбѣжалъ къ двери, пріоткрылъ, выглянулъ,—никого.

Готикъ глянулъ на стулья, гдѣ лежала одежда. Только Лютина одежда,—Готиной нѣтъ. И сапогъ нѣтъ, ни Готиныхъ, ни Лютиныхъ.

„Стащили,—подумалъ Готикъ,—и одежду, и сапоги".

Онъ вошелъ въ комнату, подбѣжалъ къ окну.

Опять по той-же дорожкѣ, что и вчера, пробирался мальчикъ, такъ-же прячась. Сегодня онъ былъ босой.

Готикъ слабо удивился.

Подумалъ стыдливо:

«Какъ-же я приду къ милой Селениточкѣ босикомъ?»

И вдругъ опять неодолимая сонливость потянула его къ постели.

Заснулъ.

И снова призрачные сны ему снились.

XVIII.

Снилось Готику, что онъ идетъ къ Селенитѣ. Его ногамъ сыро, ему неловко, что онъ босой. Но онъ не

можетъ и не хочетъ остановиться. Невѣдомая сила влечетъ его.

Чудные цвѣты на мирныхъ полянахъ легонько покачивали милыя и нѣжныя головки, орошенныя душистою росою, и улыбались лунѣ невиданною на землѣ улыбкою.

Лунный свѣтъ въ чертогѣ милой Селениты разливался, отражаясь зеркалами дивныхъ стѣнъ, и томилъ, и чаровалъ.

Вотъ и Селенита. Милая, какъ и вчера. Милая, милая. Ножки у нея бѣлыя, необутыя, какъ у Готика,— чтобы не было Готику стыдно.

Зеленоватыя на ней одежды при каждомъ движеніи развѣваются тихо. Слова у нея звенятъ, какъ музыка, и сладостно-нѣженъ шорохъ ея шаговъ, ея развѣвающихся одеждъ.

И радостная сіяетъ на ея лицѣ улыбка, —но эта радость растворена въ дивной печали.

И отъ этой радости, и отъ этой печали кружится голова, и на глазахъ закипаютъ слезы.

Селенита прильнула къ Готику, и обняла его, и въ легкомъ круженіи понеслись они надъ озаренными луною полянами, едва касаясь ногами нѣжныхъ травъ. И было радостно и томно.

XIX.

Въ спальнѣ шептались, строя предположенія о томъ, куда могъ ходить Готикъ.

Вдругъ услышали шорохъ. Притихли, прислушались. Скрипѣла дверь.

Людмила Яковлевна тихо вышла изъ спальни. По-

шелъ за нею и Александръ Андреевичъ, держа въ рукѣ свѣчу. Остановились у дверей, гдѣ спали мальчики.

— Нѣтъ одежды!—испуганнымъ шопотомъ сказала Людмила Яковлевна.—Убѣжалъ!

— Хорошо, что одинъ,—проворчалъ Александръ Андреевичъ.

Быстро пошли въ садъ.

Вдругъ на ихъ глазахъ изъ кустовъ выбѣжалъ мальчикъ, и проворно шмыгнулъ въ калитку.

Александръ Андреевичъ побѣжалъ за нимъ.

XX.

Людмила Яковлевна стояла у калитки, и тревожно смотрѣла на росистые кусты и туманную рѣку.

Скоро Александръ Андреевичъ вернулся, тяжело и неровно дыша.

— Не догналъ. Юркнулъ куда-то,—ворчалъ онъ.

— Что-же теперь дѣлать?—спросила Людмила Яковлевна.

— Надо подождать. Посидимъ. Вернется-же,—досадливо бормоталъ отецъ.

Пошли въ домъ. Людмила Яковлевна сказала:

— Ты бы прошелъ къ мельницѣ.

— Куда я пойду!—сердито отвѣтилъ Александръ Андреевичъ.—За мальчишкой гоняться! Тутъ мѣстъ много.

XXI.

Александръ Андреевичъ прикорнулъ въ гостиной въ креслѣ, и скоро заснулъ. Спитъ себѣ, похрапываетъ.

Людмила Яковлевна, досадуя на мужа, думала:

„Ему все равно. Сердце не болитъ. Спитъ спокойно въ такую минуту. Другой бы всю окрестность выбѣгалъ. Мало-ли что можетъ случиться“.

Она вышла на балконъ. Сѣла, прячась за кумачевымъ его пологомъ, чтобы ее не видно было изъ сада.

Призадумалась. О Готикѣ, о Лютикѣ. Сознаніе подернулось тонкою дремою.

Уже свѣтало.

Вдругъ что-то мелькнуло свѣтлое среди темной зелени, тамъ, за кустами сада, по дорогѣ.

Людмила Яковлевна вскочила, точно отъ внезапнаго толчка.

Это Готикъ пробѣжалъ домой,—подумала она.

Не видѣла ясно, но была увѣрена, что это Готикъ. И уже представилось ей, что она видѣла ясно его лицо.

Людмила Яковлевна задрожала, схватилась руками за грудь. Ей стало страшно. Почему-то не пришло въ голову бѣжать Готику на встрѣчу.

Кинулась будить мужа. Шопотомъ окликнула его. Потомъ принялась расталкивать.

Едва разбудила. Разоспался, бормоталъ что-то. Вдругъ очнулся. Услышалъ взволнованный женинъ шопотъ:

— Готикъ, Готикъ!

Испугался. Показалось, что съ Готикомъ несчастіе. Вскочилъ.

— Что съ нимъ?—спросилъ онъ дрожащимъ голосомъ.

Жена зашикала на него:

— Ш-шъ! Тише.

Потащила за рукавъ.

Оба побѣжали въ садъ, оба испуганные.

Видѣли, что кто-то мелькнулъ въ заднія двери, гдѣ входъ въ кухню. Очевидно, замѣтилъ, что за нимъ бѣгутъ,—принялся раздѣваться на бѣгу.

Они оба бросились за нимъ. Не догнали.

Въ передней Готины одежды были кое-какъ брошены,—на стулъ, на полъ, какъ пришлось.

Вошли къ мальчикамъ.

И Готикъ и Лютикъ спали. У Готика одѣяло сбилось къ ногамъ.

— Притворяется,—сердито и громко сказалъ отецъ.

Его страхъ прошелъ и замѣнился злостью.

Сердился на Готика за то, что изъ-за него пережилъ минуту глупаго страха, когда такъ больно и тяжко стучитъ и колотится сердце.

— Вставай-ка, путешественникъ,—сердито крикнулъ онъ, сильно шлепая Готика по спинѣ.

Готикъ вскочилъ. Быстро проснулся,—а глаза еще тяжелые. Испугъ, смущеніе.

Неужели узнали?—тревожная мелькнула въ его головѣ мысль.—Но какъ же узнали? И что теперь будетъ?

Проснулся и Лютикъ. Онъ громко зѣвалъ, и жалобнымъ, тоненькимъ голосомъ говорилъ:

— Что это такое! большіе маленькимъ спать не даютъ.

Вдругъ догадался, что случилось что-то любопытное. Сѣлъ на постели, позѣвалъ, потянулся. Всталъ, завернулся въ одѣяло. Приготовился смотрѣть, что еще будетъ.

— Съ чего будили? съ чего-бъ удили?—бормоталъ онъ по привычкѣ.

И отецъ и мать сердились, волновались,—и этимъ совсѣмъ запугали Готика. Спрашивали Готика оба сразу.

— Гдѣ ты сейчасъ былъ?

— Куда ты бѣгалъ?

— Откуда ты пришелъ?

— Говори, зачѣмъ ты уходилъ?

Готикъ сѣлъ на кровати, и заплакалъ.

— Ничего я не знаю, — тихо и горестно сказалъ онъ.

Отецъ схватилъ Готика за плечи, и сердито тряхнулъ.

— Нѣтъ, ты отвѣчай, — крикнулъ онъ. — Москва слезамъ не вѣритъ.

Готикъ всталъ. Судорожно зѣвнулъ. Принялся тереть глаза.

Не зналъ, что дѣлать и что говорить. Было тяжело и тоскливо.

А отецъ допрашивалъ:

— Говори, гдѣ ты бѣгалъ?

— Я спалъ, — со слезами сказалъ Готикъ.

— А, спалъ! Ну, хорошо, сейчасъ мы увидимъ, какъ ты спалъ. Пойдемъ-ка, братъ, въ садъ.

Потащили Готика въ садъ неодѣтаго. Пошелъ и Лютикъ, кутаясь въ одѣяло.

— Вотъ здѣсь онъ бѣжалъ, я видѣла, — показывала Людмила Яковлевна. — Постойте, вотъ и слѣды его на дорожкѣ. Готикъ, ставь ноги въ слѣдъ.

— И вовсе не мой слѣдъ, — сказалъ Готикъ. — Громадныя лапы. У меня такихъ никогда не было.

И въ самомъ дѣлѣ, слѣды не сходились.

И отецъ и мать были смущены.

— Приснилось, что-ли, тебѣ? — сердито бормоталъ Александръ Андреевичъ.

Лютикъ хохоталъ и прыгалъ, путаясь въ длинныхъ складкахъ въ своемъ одѣялѣ.

Готикъ радостно смѣялся.

„Не попался! не узнали! не поймали!“—радостно думалъ онъ.

— Чей же это, однако, слѣдъ?—съ недоумѣніемъ говорилъ Александръ Андреевичъ.—Вѣдь, значитъ, тутъ проходилъ кто-то.

Оглянулся на домъ, смутно догадываясь. Изъ кухни выглядывала Настя.

— А она тутъ что дѣлаетъ? — шопотомъ спросилъ Алексанръ Андреевичъ.

— Что вы, Настя, уже встали?—спросила Людмила Яковлевна.—Это не ея ли штуки?—тихо сказала она мужу.

Александръ Андреевичъ посвисталъ.

— Понятно, это она бѣгала. Маскарадъ устроила.

— Идите-ка сюда,—позвала Людмила Яковлевна. — Чьи это здѣсь слѣды? Кто тутъ сейчасъ бѣжалъ?

Настя засмѣялась.

— Да ужъ что, барыня,—сказала она,—видно нечего скрывать. Я бѣгала въ Готиномъ костюмчикѣ.

— А зачѣмъ вы маскарадъ такой устраивали?

— Да чтобъ по сосѣдству не примѣтили, да и отъ васъ пряталась. А тамъ на мосту у насъ балы были, танцы, парни, дѣвушки, очень весело.

— Ну, намъ такой веселой прислуги не надо,— рѣшилъ Александръ Андреевичъ. — Утромъ расчетъ получите, да и съ Богомъ.

XXII.

Такъ это не Готикъ уходилъ къ Селенитѣ,—это въ его одеждѣ бѣгала Настя. Какъ глупо!

Какъ жаль ночного, несбыточнаго сна!

Ночной милой жизни, и Селениты, и всего, чего нѣтъ и не было!

Все таинственное объяснилось такъ просто и пошло.

Гошику стало тоскливо.

Онъ опять заплакалъ.

Отецъ взялъ его на руки, и отнесъ въ спальню, утѣшая обѣщаніемъ купить велосипедъ.

А Лютику было смѣшно. Онъ дурачился и хохоталъ.

— Ну, спите, спите, дѣти!—сказалъ Александръ Андреевичъ.

И всѣ опять въ своихъ спальняхъ.

Спать!

Прощай, иная, невѣдомая, тайная жизнь. Надо жить дневными скучными переживаніями, и, когда придетъ ночь, спать безсмысленно и тяжело.

ЕЛКИЧЪ.

I.

Елка, елка, не сердись.
Елкичъ, елкичъ, не бранись.
Мнѣ постели не топчи,
Сядь на елку и молчи.

Вѣра Алексѣевна прислушалась. Въ скучной темнотѣ зимняго разсвѣта изъ дѣтской доносилось тихое пѣніе,—кто-то тоненькимъ голоскомъ тянулъ пѣсенку со странными словами. На лицѣ Вѣры Алексѣевны выразилась озабоченность. Она тихо подошла къ дверямъ дѣтской. Пѣніе замолкло на минуту. Потомъ тоненькій голосъ опять затянулъ, отчетливо выговаривая тихія и странныя слова и придавая имъ трогательное и жалобное выраженіе:

Мама елку принесла.
Елка елкичу мила.
Елка выросла въ лѣсу.
Елкичъ съ шишкой на носу.

Вѣра Алексѣевна, сохраняя на лицѣ все то же озабоченное выраженіе, осторожно потянула къ себѣ дверь дѣтской. Старшій мальчикъ, Дима, еще спалъ, приткнувшись носомъ къ подушкѣ и мѣрно дыша откры-

тымъ ртомъ. Младшій, Сима, худенькій, черноволосый и черноглазый мальчикъ, сидѣлъ на постели, охвативъ колѣни руками, смотрѣлъ горящими въ темнотѣ глазами въ темный уголъ, покачивался и напѣвалъ. Вѣра Алексѣевна позвала тихонько, чтобы не испугать его:

— Симочка.

Сима не услышалъ. Продолжалъ свою пѣсенку, и звуки ея казались все болѣе хрупкими и печальными.

Елкичъ миленькій, лѣсной!
Уходилъ бы ты домой.
Елку ты ужъ не спасешь.
Съ нами самъ ты пропадешь.

Вѣра Алексѣевна подошла къ постели мальчика. Нарочно стучала каблучками своихъ туфель. Сима повернулъ къ ней лицо.

— Симочка, что ты поешь спозаранку? Дай Димѣ спать.

Дима проснулся. Пухлый, румяный, лежалъ на спинѣ и сердито смотрѣлъ на мать.

Сима сказалъ печальнымъ и хрупкимъ голосомъ:

— Елкичъ-то, вотъ бѣдненькій! Каково ему теперь! Елку срубили,—гдѣ онъ теперь жить будетъ? Пустятъ ли его на другую елку? И какъ онъ туда доберется? Мама, какъ онъ теперь будетъ?

— Что ты говоришь, Симочка?—недовольнымъ голосомъ заговорила мама.—Какой еще елкичъ тебѣ приснился? И какъ можно пѣть въ постели! Всѣхъ разбудилъ.

Дима, который вставая всегда бывалъ грубъ, сказалъ хриплымъ и сердитымъ голосомъ:

— Пришла! Кому мѣшаетъ. Усмиреніе съ помощью родительскихъ шлепковъ.

— Дима, не груби,—строго сказала мама.—Шлепковъ пока еще никому не было, ты ихъ не хочешь ли?

— Попробуй, — все такъ же сердито отвѣчалъ Дима,—я вѣдь и заревѣть могу.

Мама спокойно сказала:

— Ну, миленькій, меня ревомъ не испугаешь.

Подошла къ Димѣ, сняла съ него одѣяло, приподняла Диму за плечи, наклонилась къ нему, и шепнула:

— Разговори Симу,— ему опять что-то снится нескладное.

Дима былъ польщенъ. Сразу сталъ очень любезенъ. Поцѣловалъ обѣ мамины руки. Поздравилъ съ праздникомъ. Шепнулъ:

— Трудно. Теперь онъ все будетъ разсказывать.

Тоненькій голосокъ за ними опять затянулъ свою нескончаемую пѣсенку.

Елкичъ въ елкѣ мирно жилъ,
Елкичъ елку сторожилъ.
Злой пріѣхалъ мужичекъ,
Елку въ городъ уволокъ.

Мама вздрогнула, и короткое время стояла, какъ испуганная. Потомъ рѣшительно подошла къ Симѣ. Взяла его за плечо. Сказала рѣшительно и строго:

— Симочка, не дури. Какой елкичъ? Что за вздоръ!

— А онъ, елкичъ, такой маленькій,—заговорилъ тоненькимъ и возбужденнымъ голоскомъ Сима,— маленькій, маленькій, съ новорожденный пальчикъ. И весь зелененькій, и смолкой отъ него пахнетъ, а самъ онъ такой шершавенькій. И брови зелененькія. И все ходитъ, и все ворчитъ: „развѣ моя елка для васъ выросла? она сама для себя выросла!“

— Это, Сима, тебѣ приснилось,—сказала мама.— Проснулся, такъ нечего въ постели сидѣть,—одѣвайся проворно. Дима, одѣваться! И не дурить. Смотрите вы оба у меня.

И мама ушла изъ дѣтской спальни. Она знала, что надо бы остаться сколько-нибудь еще съ мальчиками,— но ей было такъ некогда. Эти праздники въ городѣ,— ихъ положительно не видишь, вздохнуть некогда. Столько разныхъ выѣздовъ и пріемовъ, положительно, какая-то непріятная праздничная повинность. И такъ много расходовъ, и такъ много домашнихъ хлопотъ, суетни, неурядицъ, неудовольствій,—съ мужемъ, съ дѣтьми, съ прислугою. Право, быть хозяйкою дома при современномъ строѣ жизни становится уже очень тяжело. Видно, и намъ скоро придется ступить на ту же дорогу, по которой идутъ хозяйки въ Сѣверной Америкѣ.

Такими соображеніями утѣшая или, вѣрнѣе, разстраивая себя, мама пошла въ столовую, гдѣ уже ее ждали. Проходя мимо большихъ зеркалъ въ гостиной, она съ удовольствіемъ, какъ всегда, кинула быстрый взглядъ на отраженное въ зеркалахъ прекрасное, еще такое молодое лицо, и на стройную фигуру въ домашнемъ, совершенно простомъ, но очень изящномъ, и, что самое важное, очень идущемъ къ лицу нарядѣ.

II.

А мальчики, оставшись одни, немедля заговорили о бѣдномъ елкичѣ, который такъ тоскуетъ о своей загубленной елкѣ и не можетъ утѣшиться.

Маленькій, зелененькій, шершавенькій, съ зелеными бровями и зелеными рѣсницами, онъ все ходитъ по

комнатамъ, и ходитъ, и ворчитъ. Никто его не видитъ, кромѣ маленькаго Симочки.

И ходитъ, и ворчитъ, и жалуется, и наводитъ тоску на Симу.

Ворчитъ:

— Развѣ она для васъ въ лѣсу выросла? Развѣ вы сдѣлали ее? Зачѣмъ вы ее зарубили?

Сима оправдывается:

— Милый елкичъ, да вѣдь намъ зато какъ весело-то было! Ты подумай только, какъ свѣчки зажгли на елочкѣ, вотъ-то весело стало! Развѣ ты этого не понимаешь? Вѣдь ты же самъ видѣлъ,—свѣчки на елочкѣ, и золотой дождь, и блестки,— такъ все и горитъ, и блеститъ, и переливается. Еще мнѣ-то что, я вѣдь не первую елку справляю,—а вотъ самые маленькіе, и еще вотъ швейцаровы дѣти,—вѣдь имъ это какой праздникъ! Что же ты сердишься такъ, милый елкичъ?

И съ тоскою прислушивался къ тому, что ему отвѣтитъ елкичъ. И уже заранѣе зналъ, что елкичъ не повѣритъ его словамъ, что нельзя никакими словами утѣшить елкича, у котораго зарубили его родную елку.

— Она у меня одна была,—ворчитъ елкичъ.

И поетъ, и скулитъ тоненькимъ голоскомъ. И только Сима слышитъ его.

— Какую власть взяли!—ворчитъ елкичъ.—Взяли мою елку, привезли, веселитесь. Если вамъ нужно вокругъ елки плясать, ѣхали бы въ лѣсъ сами. Въ лѣсу хорошо. А то срубили, погубили.

Поетъ, скулитъ.

III.

Сима наконецъ приступилъ къ своему старшему брату, студенту.

— Кира, елкичъ-то все тоскуетъ. Онъ, елкичъ-то, все ходитъ и на домашнихъ сердито смотритъ, и все скулитъ такимъ тоненькимъ голоскомъ. Какой онъ бѣдный!

— Результатъ чтенія фантастическихъ произведеній,— проворчалъ студентъ.

— Нѣтъ, Кира, ты скажи, вотъ онъ жалуется, что елка не для насъ выросла, а вотъ ее для насъ срубили. Какъ же это такъ? Вѣдь она, и въ самомъ дѣлѣ,—для себя? И каждый для себя. А то вѣдь этакъ каждаго придутъ и возьмутъ, и сдѣлаютъ, что хотятъ.

Студентъ выслушалъ хмуро. Сказалъ:

— Елка—дерево. Ее можно срубить. А вотъ относительно насъ съ тобою, тутъ, дѣйствительно, дѣло обстоитъ неладно. Человѣкъ есть автономная личность, не правда ли?

Сима утвердительно кивнулъ головою. Кира продолжалъ:

— Ну, и вотъ, приходятъ агенты власти, и берутъ тебя, и ведутъ, куда ты не хочешь, и заставляютъ дѣлать то, что несвойственно твоей натурѣ. Ты говоришь: я для себя выросъ. Тебѣ отвѣчаютъ: нѣтъ, братъ, шалишь, ты выросъ церкви и отечеству всему на пользу, а разъ на пользу, такъ мы тебя и используемъ. Такъ-то, братъ, въ общемъ хозяйствѣ все на пользу идетъ, ничто даромъ не пропадаетъ.

— Это очень нехорошо,—убѣжденно сказалъ Сима.

— Хорошаго, дѣйствительно, мало,— согласился

студентъ,—но ужъ таковъ соціальный строй. Служи другимъ, коли хочешь, чтобы тебѣ служили.

— Тогда я не хочу,—печально сказалъ Сима,—если надо заставлять и мучить, тогда я не хочу.

— Ну, братъ, объ этомъ насъ съ тобой не спросятъ,— сказалъ студентъ.

Затянулся папиросою. Видно было, что ему очень пріятно курить и чувствовать себя дома на положеніи взрослаго. Покровительственно посмотрѣлъ на Симу. Похлопалъ его по плечу. Сказалъ:

— Ты—забавный мальчуганъ. Все фантазируешь. Пожалуй, выростешь, такъ поэтомъ будешь.

Сима помолчалъ, вздохнулъ, и сказалъ, краснѣя и потупясь:

— Елкича жалко. Какъ онъ теперь будетъ?

IV.

Сима проснулся ночью. Услышалъ опять, какъ елкичъ ходитъ, скулитъ тоненькимъ голоскомъ и ворчитъ. И домашніе шепчутся съ нимъ, стараются его утѣшить.

Тоненькій голосокъ изъ угла говоритъ:

— Мы тебя не гонимъ. Будь съ нами. У насъ хорошо. Свѣтики перебѣгаютъ. Пылиночки кружатся. Очень хорошо.

— Насмотрѣлся я,—ворчитъ елкичъ.—Мнѣ здѣсь у васъ не нравится. Хозяева у васъ нехорошо живутъ.

— Намъ нѣтъ никакого дѣла до хозяевъ,—отвѣчаетъ домашній.—Мы сами по себѣ, они сами по себѣ,—мы имъ не мѣшаемъ, они на насъ не обращаютъ вниманія. Только Сима за нами иногда смотритъ, да это не бѣда,—

онъ еще маленькій, и онъ такъ и не выростетъ,—онъ къ намъ уйдетъ. Онъ для насъ почти свой,—а до другихъ нѣтъ дѣла.

— Нѣтъ,—ворчитъ елкичъ,—не нравится, да и не нравится мнѣ у васъ. Что хотите, а не нравится. Кровью тутъ у васъ пахнетъ, а я этого запаха не люблю.

— А у васъ въ лѣсу развѣ ничѣмъ такимъ не пахнетъ?—съ досадою и насмѣшкою спрашиваетъ домашній.

Но елкичъ не отвѣчаетъ, и ворчитъ себѣ свое:

— И не нравится, и не нравится. Рубятъ, бьютъ, а для чего, и сами не знаютъ.

Сима приподнялся на локтѣ, и тихонько, чтобы не разбудить Димы, шепнулъ:

— Миленькій елкичъ, почему же тебѣ у насъ не нравится? Мы всѣ—добрые.

Стало очень тихо. Домашніе молчали, и чутко ждали, что отвѣтитъ елкичъ. Помолчалъ елкичъ. Сказалъ сердито:

— Иди завтра на улицу,—самъ увидишь.

Домашніе засмѣялись, зашушукались. Симѣ стало тоскливо.

— Что же я увижу?—спросилъ онъ.—Милый елкичъ, ты иди со мною, и покажи.

— Покажу, покажу,—отвѣтилъ елкичъ.

Писклявый голосъ его казался злымъ и угрожающимъ, но Сима не боялся этого: онъ зналъ, что елкичъ тоскуетъ по своей елкѣ, и не можетъ утѣшиться, и потому такой сердитый.

— Покажу,—повторялъ елкичъ,—будешь доволенъ мною.

Домашніе тихонько шушукались и смѣялись тоненькими, шелестинными голосками, и не понять было Симѣ, добрые они или злые, смѣются ли они отъ злости или отъ милой веселости. Жутко было Симѣ, и, чтобы подбодриться, онъ опять шопотомъ спросилъ елкича:

— Милый елкичъ, когда же ты мнѣ покажешь? Утромъ? Правда? Когда мы пойдемъ гулять съ фрейлейнъ Эмиліею? да?

— Да, да, ворчалъ елкичъ.—Утромъ, такъ утромъ.

И шелестинные разстилались по всѣмъ угламъ смѣшки и шопотки.

И опять спросилъ Сима:

— Милый елкичъ, ты вѣдь маленькій, какъ же ты съ нами пойдешь? Фрейлейнъ Эмилія какъ зашагаетъ, такъ только поспѣвай. Она говоритъ: моціонъ надо дѣлать весело. Такъ какъ же ты?

— Ничего,—сердитымъ голосомъ сказалъ елкичъ,—ужъ я отъ васъ не отстану. Я къ тебѣ въ карманъ сяду.

Шелестинные шушукались, смѣялись голосочки во всѣхъ уголочкахъ. И подъ шелестинный смѣхъ заснулъ Сима.

V.

Утромъ мальчики, какъ всегда, пошли гулять съ фрейлейнъ Эмиліею. Но неспокойно и страшно было на улицахъ. Шли толпы. Слышались злыя слова. И вдругъ раздались вдали рѣзкіе звуки рожка.

Старшій Симочкинъ братъ пробѣжалъ мимо.

— Фрейлейнъ, — крикнулъ онъ на ходу, — ведите дѣтей домой.

Но уже фрейлейнъ и сама ухватила обоихъ мальчи-

ковъ за руки, и бросились бѣжать въ переулокъ, дальше отъ толпы, отъ веселаго рожка.

— Елкичъ, елкичъ,—кричалъ Сима,—что же ты мнѣ покажешь?

— Бѣги за братомъ,—быстро шепталъ елкичъ,—брось нѣмку, бѣги за братомъ. Его сейчасъ убьютъ.

Сима громко закричалъ и рванулся отъ фрейлейнъ Эмиліи.

— Сима, Сима, ради Бога, куда вы?—кричала испуганная фрейлейнъ, пытаясь поймать Симу.

Но Сима убѣжалъ въ толпу. Скрылся за народомъ. Фрейлейнъ растерянно металась, не зная, что дѣлать. Дима плакалъ. Кругомъ бѣжали какіе-то испуганные, плохо одѣтые люди. Кричали что-то.

Сима догналъ брата.

— Кира, пойдемъ вмѣстѣ,—кричалъ онъ.

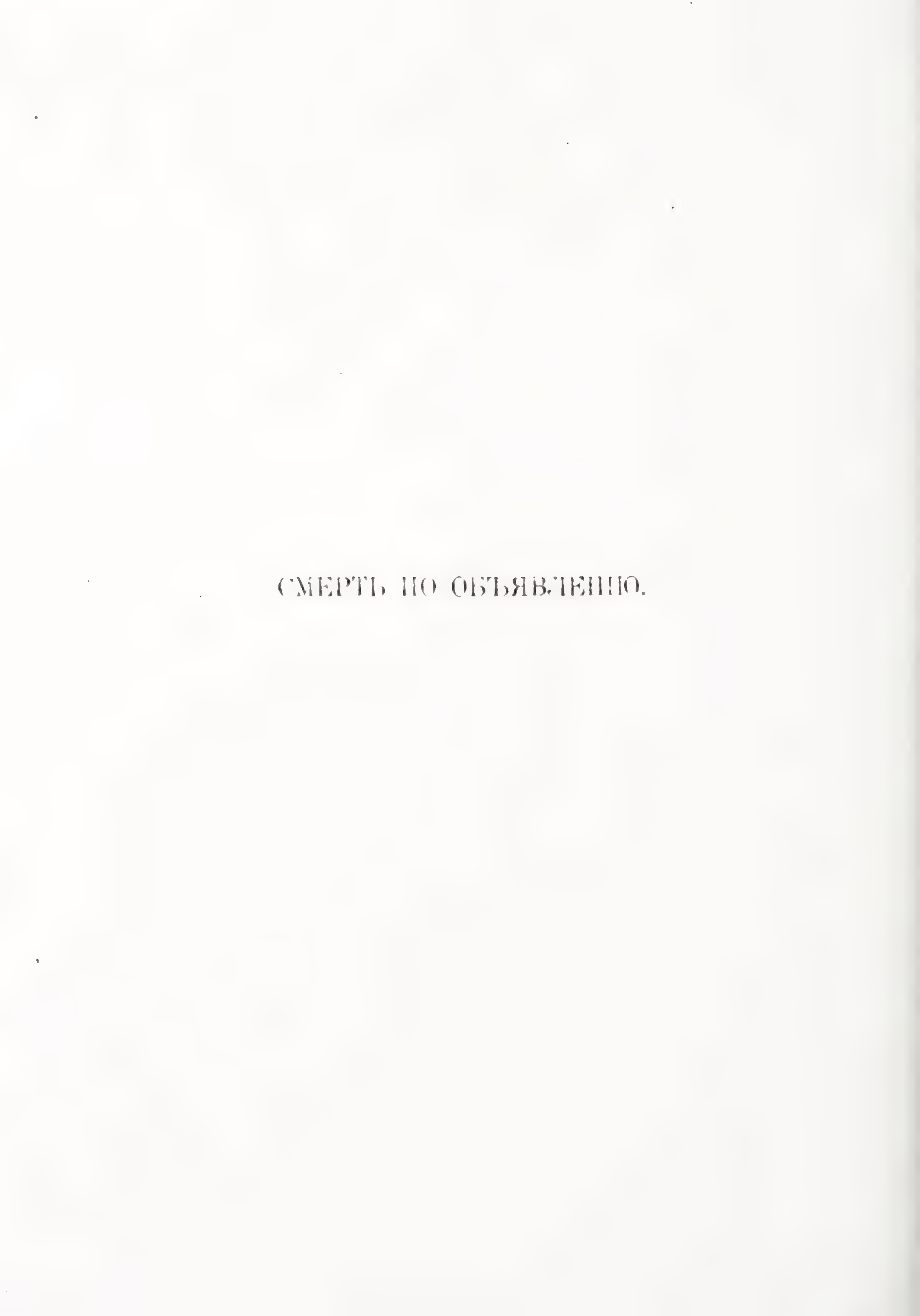
Студентъ испуганно глянулъ на мальчика, и поблѣднѣлъ.

— Зачѣмъ ты здѣсь? гдѣ фрейлейнъ?

Опять въ ясномъ и морозномъ воздухѣ весело и звонко зарокотали звуки рожка. Нестройный гамъ поднялся въ отвѣтъ этимъ звукамъ. Вдругъ всѣ побѣжали. Передъ Симою и студентомъ стало пусто и свѣтло. Стройный рядъ наклонившихся штыковъ вдругъ дрогнулъ и задымился. Сима въ страхѣ отвернулся. Страшный трескъ пронизалъ, казалось, все его тѣло. Земля заколебалась, поднялась, камни подъ снѣгомъ холодной мостовой прижались къ Симочкину лицу. Короткій мигъ было очень больно. И потомъ стало легко и пріятно. Раскинувъ на снѣгу маленькія, помертвѣлыя руки, Сима шепнулъ:

— Елкичъ миленькій.

И затихъ.



СМЕРТЬ ПО ОБЪЯВЛЕНІЮ.

Резановъ чувствовалъ себя такимъ слабымъ, усталымъ, увядающимъ. Къ вѣчному успокоенію все чаще клонились мысли. Казалось, что слаще нѣтъ отдыха, какъ на досчатомъ ложѣ, въ сосновой домовинѣ.

И захотѣлось вдругъ развлеченія не по установленной программѣ.

Сидѣлъ въ своей тихой комнатѣ одинъ.

Читалъ объявленія въ „Новомъ Времени" очень внимательно. Искалъ чего-то. Сравнивалъ и выбиралъ.

Его блѣдное, начинающее увядать, лицо являло признаки смущенія и нерѣшительности. Въ задумчивости взялъ карандашъ. Поставилъ его остріемъ на абажуръ лампы.

Дрожала рука. Стучало остріе карандаша. Усмѣхнулся. Подумалъ:

«Старѣю».

Опять опустилъ глаза, — когда-то вѣчно-веселые, теперь устало-равнодушные,—на газетные листы склонилъ внимательные и спокойные взоры.

Наконецъ выбралъ одно объявленіе.

Какая-то интеллигентная молодая дама, красивая и воспитанная, находясь въ крайней нуждѣ, просила

добрыхъ людей одолжить ей пятьдесятъ рублей: согласна была на всѣ условія. Просила писать въ семнадцатое почтовое отдѣленіе до востребованія, предъявительницѣ квитанціи за № 205824.

Резановъ вынулъ изъ коробки листъ желтоватой, шероховатой бумаги съ неровными краями, съ водяными знаками Margarette Mill.

Усмѣхаясь невесело, писалъ:

„Милостивая Государыня,

„Я дамъ Вамъ деньги, которыхъ Вы просите, но не „въ долгъ и не даромъ, а за работу, о которой сейчасъ „Вамъ напишу. Напишу по необходимости вкратцѣ,— „въ письмѣ многаго не скажешь. Но такъ какъ, по „Вашимъ словамъ, Вы—дама интеллигентная, то Вы, „можетъ быть, поймете, что именно отъ Васъ потре„буется. Вы должны явиться мнѣ въ образѣ моей „смерти,—чѣмъ болѣе привлекательной, тѣмъ лучше,— „и сообразно съ этимъ вести себя. Если Вы сумѣете „разнообразить достаточно эту веселую игру, то Вашъ „заработокъ можетъ быть и впредь достаточенъ для „Вашего пропитанія. Согласны-ли Вы? Не странно „ли Вамъ? Понимаете-ли Вы, что отъ Васъ требуется? „Если согласны, и не боитесь, и понимаете, то напи„шите, когда и гдѣ я могу Васъ въ первый разъ „встрѣтить. Для меня самое удобное время — послѣ „пяти вечера. Пишите въ Главный почтамтъ предъ„явителю трехъ рублей № 384384. Письмо возьму въ „четвергъ.“

Трехрублевка, новенькая, пошловато-красиваго образца 1905 года, хрустѣла непріятно, какъ накрахмален-

ное платье полоротой причастницы. Цифры 384 повторялись дважды. Совпаденіе казалось страннымъ и знаменательнымъ.

Подумалъ:

«А если?»

Блѣдно улыбнулся.

«Ну и пусть».

Не подписалъ. Запечаталъ. Самъ отнесъ и бросилъ въ почтовый ящикъ,—чтобы не забыли до утра, чтобы дошло скорѣе.

Потомъ вернулся, и думалъ, какая она придетъ.

Тощая, уродливая, съ побурѣвшимъ отъ бѣдности и страданій лицомъ, съ желтыми зубами, съ жидкими рыжеватыми космами волосъ подъ истасканною на дождѣ и вѣтрѣ шляпою, гдѣ жалко и смѣшно трепыхаются перо и бантъ?

Или молоденькая, застѣнчивая, тихая, съ тонкими пальцами швеи, исколотыми иглою, съ блѣднымъ, точно восковымъ личикомъ, съ большимъ, милымъ ртомъ?

Или пьяною придетъ проституткою, накрашенная, разбитная, съ визгливымъ голосомъ и грубыми ухватками?

Или провинціальная вульгарная дама въ невѣроятномъ костюмѣ, съ невозможными манерами, съ немытою шеею,—брошенная мужемъ и еще никуда не пристроившаяся?

Какая же она будетъ, моя смерть? Моя смерть!

Или въ темномъ встрѣтитъ переходѣ, и не увижу ее, и только въ холодную опущу руку мое бѣдное золото?

Въ четвергъ пошелъ въ Почтамтъ. Лѣтній день въ столицѣ былъ пыленъ, жарокъ и шуменъ. Тамъ и здѣсь

чинили мостовыя, красили дома,— и такъ непріятно пахло. И все же было весело, привычно, и вывѣски знакомыхъ ресторановъ глядѣли празднично-нарядно.

Не торопился. Пилъ пиво у Лейнера. Никого не встрѣтилъ знакомыхъ. Да и кого теперь встрѣтить? Развѣ случайно.

Было близко время къ четыремъ, когда прошелъ сквозь узкія, отворенныя двери въ новый, подъ стеклянною крышею, залъ Почтамта. Вспомнилъ старый, заплеванный закоулокъ, гдѣ прежде выдавали письма до востребованія. Теперь и чиновники заботятся о миловидности.

Остановился у будочки съ бумагою и конвертами. Вертящаяся витрина показала ему всѣ виды приторной пошлости на открыткахъ, какъ на подборъ.

— Покупаютъ,—спросилъ онъ продавщицу

Смазливая дѣвица со скучающимъ лицомъ обидчиво дернулась жирными плечами.

— Вамъ что угодно?—спросила она враждебнымъ тономъ.—Конверты, бумага, открытыя письма.

Взглянулъ на нее пристально. Замѣтилъ кудерьки на лбу, фарфоровый цвѣтъ лица, синіе зрачки. Сказалъ:

— Да ничего не надо.

И прошелъ дальше.

Прямо противъ входа за среднимъ двойнымъ окномъ большой квадратной загородки сидѣли три дѣвицы, разбиравшія письма. Снаружи стояли получатели. Толстая дама съ бородавкою на носу спрашивала письмо на имя Русланъ-Звонаревой.

— Ваша фамилія Звонарева?—спросила почтовая барышня съ лицомъ цвѣта пшеничной булки, и отошла вглубь къ шкапу съ письмами.

— Русланъ-Звонарева,—испуганнымъ полушепотомъ говорила ей вслѣдъ дама съ бородавкою.

И, когда почтовая писчичная дѣвица вернулась съ пачкою писемъ къ окошку, дама съ бородавкою повторила:

— У меня двойная фамилія, Русланъ-Звонарева.

Рядомъ съ нею стоялъ рыжій господинъ съ котелкомъ въ рукѣ, и безпокойными глазами смотрѣлъ на письма, которыя перебирала вторая почтовая дѣвица, самая красивая изъ трехъ, и очень гордая этимъ. Господинъ, по всѣмъ признакамъ, ждалъ письма „чувствительнаго и фривольнаго", и волновался, и былъ некрасивъ и жалокъ.

Третья дѣвица, пухлая, румяная, съ лицомъ широкимъ и короткимъ, съ опущенною на лобъ широкою занавѣскою густыхъ каштановаго цвѣта волосъ, смѣялась чему-то своему. Все обращалась къ двумъ другимъ,—и тѣ улыбались,—и смѣялась, и говорила какія-то отрывочныя слова о чемъ-то забавномъ.

Резановъ молча протянулъ ей свою трехрублевку. Смотрѣлъ на дѣвицъ. Думалъ, что онѣ молоды, здоровы, миловидны. Такъ ихъ подобрало почтовое начальство, заботящееся о приличномъ видѣ своихъ учрежденій.

Вспомнилъ недавнюю газетную полемику между почтъ-директоромъ и какою-то просительницею, которая не получила мѣста на почтѣ потому, что была тощая, некрасивая, вялая отъ робости и бѣдности и недоѣданія, и старая,—цѣлыхъ тридцать два года.

Закрылъ глаза,—встало чье-то блѣдное, испитое, испуганное лицо съ широко-открытыми глазами, съ

дергающимися нервно и робко губами. Кто-то шепнулъ, такъ ясно и тихо:

— Нечѣмъ жить.

Кто-то отвѣтилъ, тихо и спокойно:

— Не живи.

Резановъ открылъ глаза. Ненавидящимъ взоромъ смотрѣлъ на пухлолицую дѣвицу, которая искала письмо на его номеръ, выкидывая изъ пачки на столъ одно за другимъ открытки и закрытыя письма. И все смѣялась. Такъ противно, надоѣдливо.

Наконецъ протянула письмо въ узкомъ штемпельномъ конвертѣ. Перебросила остальныя письма.

— Больше нѣтъ.

— И не надо, — досадливо сказалъ Резановъ.

Отошелъ въ сторону, сѣлъ на скамью у колонны. Разорвалъ конвертъ. Торопился, но былъ спокоенъ.

Крупныя и узкія буквы, тонкія черты, ровный и спокойный почеркъ, неожиданно-красивый.

„Милостивый Государь,

„Я согласна. Я не боюсь. Я понимаю. Четвергъ, „шестой часъ. Михайловскій садъ, аллея направо отъ „входа. Бѣлое платье. Въ правой рукѣ Ваше письмо „въ конвертѣ.

Ваша Смерть.“

Сторожъ звонилъ. Залъ пустѣлъ. Резановъ поѣхалъ въ „Вѣну“. Пообѣдалъ. Пилъ вино. Торопился.

Пріѣхалъ въ садъ въ половинѣ шестого.

Она стояла недалеко отъ входа, на краю аллеи, подъ деревомъ. Ея платье бѣлѣло на темной зелени тихаго сада.

Тонкая, блѣдная, очень тихая, и спокойная. Внимательно смотрѣла на него, когда онъ подходилъ къ ней. Глаза сѣрые, спокойные. Ничего не выдавали. Только внимательные. Въ лицѣ, совсѣмъ не красивомъ, выраженіе ясности и покорности. Губы большого рта улыбались мило и печально.

— Милая смерть, —сказалъ онъ тихо.

Сталъ передъ нею. Странно волнуясь, протянулъ ей руку.

Она молчала. Переложила его письмо въ лѣвую руку. Пожала его руку тонкою, холодною, тихою рукою.

Онъ спросилъ ее:

— Ты долго ждала меня?

Она отвѣтила, медленно произнося слово за словомъ, голосомъ яснымъ, безжизненно ровнымъ, смертельно спокойнымъ:

— Ты меня не ждалъ. Ты думалъ, что встрѣтишь не меня.

И казалось, что холодомъ повѣяло отъ нея. И такъ тихи, такъ недвижны были складки ея бѣлаго платья. Ея простая соломенная шляпа съ бѣлою лентою, надѣтая высоко, кидала желтую тѣнь на ея покойное лицо. Стоя передъ Резановымъ, она слегка склонилась и провела концомъ своего легкаго зонтика тонкую черту на пескѣ, слѣва направо, между нимъ и ею.

Спросилъ:

— Это—правда, что ты согласна быть моею смертью?

И такой же былъ тихій отвѣтъ:

— Я—твоя смерть.

Спросилъ опять, чувствуя холодъ въ тѣлѣ:

— Развѣ ты не боишься исполнять такую мрачную роль?

Сказала:

— Смерть боится живыхъ, и не показывается имъ такъ прямо. Ты, можетъ быть, первый, кто увидѣлъ мое лицо, земное, человѣческое лицо твоей смерти.

Сказалъ:

— Ты ведешь свою роль очень быстро, и слишкомъ добросовѣстно. Скажи мнѣ, какъ тебя зовутъ?

Улыбнулась печально и кротко. Сказала:

— Я —твоя смерть, бѣлая, тихая, безмятежная. Торопись дышать земнымъ воздухомъ,—часы твои сочтены.

Нахмурился. Сказалъ:

— Ты—интеллигентная дама, ты находишься въ затруднительномъ положеніи, и просишь денегъ. Что довело тебя до такой крайности, что ты согласна на всѣ условія? И даже на то, чтобы играть въ такую страшную игру.

Отвѣтила:

— Я голодна, больна, устала и печальна.

Засмѣялся. Сказалъ:

— Прежде всего отдохни. Что ты стоишь? Сядь на скамейку.

Прошли нѣсколько шаговъ. Сѣли. Она чертила на пескѣ запутанный узоръ.

Сказалъ:

— Ты голодна,—мы поѣдемъ, —хочешь?— куда-нибудь, и я накормлю тебя. Я дамъ тебѣ денегъ, сколько ты просила. Скажи, не надо ли тебѣ еще что-нибудь отъ меня?

Сказала:

— Я возьму отъ тебя все, что ты можешь дать, — твое золото и твою душу.

Онъ вздрогнулъ. Засмѣялся. Сказалъ:

— Ты хорошо играешь свою роль.

Отвѣтила:

— Я пришла. Мой часъ настанетъ скоро. Я жду.

Онъ вынулъ кошелекъ.

Въ среднемъ маленькомъ отдѣленіи за стальною застежкою лежали заранѣе приготовленныя пять золотыхъ монетъ. Вынулъ ихъ.

Она протянула молча свою узкую блѣдную руку,— такую тихую и спокойную,—открытою ладонью вверхъ. Легкія линіи чертили ясный и простой узоръ на ея бѣлой, недвижно-раскрытой ладони.

Пять золотыхъ монетъ, тихо звякнувъ звучнымъ звономъ одна о другую, легли на холодную, недрогнувшую ладонь. Неспѣшно сомкнулась рука, тонкіе пальцы, длинные, бѣлые, сжались, — и неторопливо опустилась рука съ деньгами въ скрытый сбоку прорѣзъ бѣлой юбки.

И онъ думалъ:

— Мое бѣдное золото, — мой послѣдній даръ, — скудный заработокъ поденщика,—малая плата за безмѣрный трудъ,—тебѣ, моя милая.

Думалъ ли только? сказалъ ли вслухъ? Такъ ясно звучали эти слова! Такою печалью стѣснилась грудь!

И грустная, смотрѣла на него она сбоку сѣрыми внимательными глазами, и улыбалась. Потомъ склонилась, и тихо шуршалъ на пескѣ конецъ ея зонтика.

И шептала:

— Взяла твое золото,—возьму твою душу. Отдалъ мнѣ золото,—отдашь мнѣ душу.

Сказалъ онъ тихо:

— Взяла мое золото, потому что я далъ тебѣ его. Но какъ возьмешь ты мою душу? И гдѣ ты ее возьмешь?

И сказала она:

— Приду къ тебѣ въ мой часъ, и возьму твою душу. И отдашь мнѣ ты свою душу. Отдашь, потому что я—твоя смерть, и ты не уйдешь отъ меня никуда.

Тоска томила его. Онъ сказалъ рѣзкимъ голосомъ, побѣждая тоску и страхъ:

— Ты живешь въ комнатѣ отъ хозяевъ, ты ищешь мѣста или работы, тебя зовутъ Марьей или Анной. Какъ тебя зовутъ?

И крикнулъ съ дикою злобою:

— Скажи, какъ тебя зовутъ!

Повторила безстрастно:

— Я—твоя смерть.

Такія безнадежныя и безпощадныя упали слова. Дрогнулъ. Поникъ. Спросилъ упавшимъ голосомъ:

— Тебѣ нужно мое золото,—потому что ты голодная и усталая,—но душа моя, зачѣмъ тебѣ душа моя?

Отвѣтила:

— На твое золото я куплю хлѣба и вина, и буду ѣсть и пить, и накормлю моихъ голодныхъ смертенышей. А потомъ душу твою выну и возьму ее бережно, положу ее себѣ на плечи, и опущусь съ нею въ темный чертогъ, гдѣ обитаетъ невидимый мой и твой владыка, и отдамъ ему твою душу. И сокъ твоей души выжметъ онъ въ глубокую чашу, куда и мои канутъ тихія слезы,—и сокомъ твоей души, смѣшаннымъ съ тихими моими слезами, на полночныя брызнетъ онъ звѣзды.

Тихо, неспѣшно, слово за словомъ, звучала странная рѣчь, какъ формула темнаго заклятія.

И кто шелъ мимо, и какіе звучали окрестъ голоса, и какіе проносились, гремя по внѣшней мостовой, за оградою экипажи, и былъ ли быстрый легконогій бѣгъ и дѣтскій смѣхъ и лепетъ,— все скрыто было за магическою пеленою медлительной рѣчи. И какъ за тающимъ дымомъ ладана таился, затаился звучащій, пестрый, весело вечерѣющій день.

И была тоска, и усталость, и равнодушіе. Тихо сказалъ:

— Если и до звѣздъ вознесется трепетъ моей души, и въ далекихъ мірахъ зажжетъ неутоляемую жажду и восторгъ бытія,—мнѣ-то что? Истлѣвая, истлѣю здѣсь, въ странной могилѣ, куда меня зароютъ зачѣмъ-то равнодушные люди. Что же мнѣ въ краснорѣчіи твоихъ обѣщаній, что мнѣ? что мнѣ? скажи.

Сказала, улыбаясь кротко:

— Во блаженномъ успеніи вѣчный покой.

Повторилъ тихо:

— Вѣчный покой. И это—утѣшеніе?

— Утѣшаю, чѣмъ могу,—сказала она, улыбаясь все тою же, неподвижною, кроткою улыбкою.

Тогда онъ всталъ, и пошелъ къ выходу изъ сада. За собою слышалъ онъ ея легкіе шаги.

Долго шелъ онъ по городскимъ улицамъ,— и она шла за нимъ. Иногда онъ ускорялъ шаги, чтобы уйти отъ нея,— и она шла скорѣе, торопилась, бѣжала, приподнимая тонкими пальцами край бѣлаго платья. Когда онъ останавливался, она стояла поодаль, разсматривала выставленные въ магазинныхъ окнахъ предметы. Иногда онъ досадливо оборачивался и шелъ прямо на нее,—

тогда она торопливо перебѣгала на другую сторону улицы, или пряталась въ подъѣздахъ или подъ воротами.

И слѣдила за нимъ сѣрыми, спокойными, внимательными глазами. Неотступно слѣдила.

„Сяду на извозчика",—подумалъ онъ.

Удивился, почему такая простая мысль раньше не пришла ему въ голову.

Но, едва онъ заговорилъ съ извозчикомъ, она приблизилась. Стояла совсѣмъ близко, и вѣяла на него холодомъ и печалью. И улыбалась.

Подумалъ досадливо:

„Она сядетъ со мною. Отъ нея не уйти, ни уѣхать".

Извозчикъ спрашивалъ шесть гривенъ.

— Тридцать копеекъ,—сказалъ Резановъ, и быстро пошелъ прочь.

Извозчикъ ругался.

Резановъ поднялся въ третій этажъ. Остановился у дверей своей квартиры. Позвонилъ. Все время слышалъ шорохъ тихихъ, поднимающихся по лѣстницѣ, шаговъ. Второй разъ позвонилъ нетерпѣливо. Холодъ страха пробѣжалъ по спинѣ. Хотѣлось войти въ квартиру раньше, чѣмъ она поднимется, раньше, чѣмъ она увидитъ, въ какую онъ вошелъ дверь,—на площадкѣ было четыре двери.

Но уже она поднималась. Уже близко, въ полусвѣтѣ лѣстницы, забѣлѣлось ея платье. И ея сѣрые глаза внимательно и близко смотрѣли въ его испуганные глаза, когда онъ, входя въ квартиру, послѣдній разъ глянулъ на лѣстницу, поспѣшно закрывая за собою дверь.

Самъ замкнулъ дверь на ключъ. Такъ рѣзко звякнулъ замокъ. Потомъ остановился въ полутемной пе-

редней. Смотрѣлъ на дверь тоскующими глазами. Чувствовалъ,— точно видѣлъ сквозь опрозрачнившуюся вдругъ дверь — какъ она стоитъ за дверью, тихая, съ кроткою улыбкою на милыхъ губахъ, и поднимаетъ ясное, блѣдное лицо, чтобы прочесть и запомнить номеръ квартиры.

Потомъ тихіе послышались шаги внизъ по лѣстницѣ.

Резановъ вошелъ въ свой кабинетъ.

— Она ушла,—словно сказалъ кто-то яснымъ голосомъ.

И другой словно послышался въ отвѣтъ ему голосъ, безнадежно-спокойный:

— Она придетъ.

Онъ ждалъ. Все темнѣе становилось. Томила тоска. Мысли были неясны и спутаны. Голова кружилась. По тѣлу пробѣгалъ знобъ и жаръ.

Думалъ:

„Что она дѣлаетъ? Купила ѣды, пришла домой, голодныхъ своихъ смертенышей кормитъ. Такъ и назвала ихъ, —смертеныши. Сколько ихъ? Какіе они? Такіе же тихонькіе, какъ и она, моя милая, смерть? Исхудалые отъ недоѣданія, бѣленькіе, боязливые. И некрасивые, и съ такими же внимательными глазами, такіе же милые, какъ она, моя милая, моя бѣлая смерть.

„Кормитъ своихъ смертенышей. Потомъ спать уложитъ. Потомъ сюда придетъ. Зачѣмъ?“

И вдругъ любопытство зажглось въ немъ.

Придетъ, конечно. Иначе зачѣмъ прослѣдила его до дому. Но зачѣмъ придетъ? Какъ она понимаетъ свою задачу, эта странная дама, готовая за деньги на всѣ условія, и даже на то, чтобы по смертямъ ходить?

А можетъ быть, она и не женщина, а настоящая

смерть? И придетъ, и выметъ его душу изъ этого грѣшнаго и слабаго тѣла?

Легъ на диванъ. Укрылся пледомъ. Весь сотрясался въ приступахъ жестокой и сладкой лихорадки.

Какія странныя приходятъ въ голову мысли! Она — умная и добросовѣстная. Взяла деньги, и хочетъ ихъ, заработать, и хорошо играетъ подсказанную ей роль.

Отчего же она такая холодная?

Да оттого, что — она бѣдная, голодная, усталая, больная.

Устала отъ работы. Такъ много ей работы.

„Я косила цѣлый день,
Я устала. Я больна“.

Ходитъ, ищетъ, голодная, больная. Бѣдные смертенныши ждутъ, голодные птицы раззѣваютъ.

И вспомнилъ ея лицо,—земное, человѣческое лицо моей смерти.

Такое знакомое лицо. Родныя черты.

Въ памяти, черта за чертою, все яснѣе вставало ея лицо,—знакомыя, родныя, милыя черты.

Кто же она, моя бѣлая смерть? Не сестра ли моя?

„Тяжело мнѣ,—я больна.
Помоги мнѣ, милый братъ“.

И если она — моя вѣчная Сестра, моя бѣлая смерть,— то что мнѣ до того, что она здѣсь, въ этомъ воплощеніи, пришла ко мнѣ въ образѣ ищущей по объявленіямъ, живущей въ комнатѣ отъ хозяевъ!

Я вложилъ въ ея руку мое бѣдное золото, мой скудный даръ,—звонкое золото, въ холодѣющую руку. И взяла мое золото остывающею рукою, и возьметъ мою

душу. Снесетъ меня подъ темные своды,—и откроется ликъ Владыки,—Мой вѣчный ликъ, и Владыка—Я. Я воззвалъ мою душу къ жизни, и смерти моей велѣлъ итти ко мнѣ, итти за мною.

И ждалъ.

Была ночь. Тихо звякнулъ колокольчикъ. Никто не слышалъ. Резановъ поспѣшно откинулъ пледъ. Прошелъ въ переднюю, стараясь не шумѣть.

Такъ рѣзко зазвенѣлъ замокъ. Дверь открылась,—на порогѣ стояла она.

Онъ ступилъ назадъ, въ темноту передней. Спросилъ, словно удивляясь:

— Это—ты?

И она сказала:

— Я пришла. Это мой часъ. Пора.

Онъ замкнулъ за нею дверь, и пошелъ къ себѣ по неосвѣщеннымъ комнатамъ. Слышалъ за собою легкій шорохъ ея ногъ.

И въ темнотѣ его покоя она прильнула къ нему, и поцѣловала его цѣлованіемъ нѣжнымъ и невиннымъ.

— Кто же ты?—спросилъ онъ.

Сказала:

— Ты звалъ меня, и я пришла. Я не боюсь, и ты не бойся. Я дамъ тебѣ послѣднюю усладу жизни,—поцѣлуй смерти,—„и будетъ смерть твоя легка и слаще яда“.

Спросилъ:

— А ты?

Отвѣтила:

— Я сказала тебѣ, что сойду съ твоею душою тѣмъ единственнымъ путемъ, который передъ нами.

— А твои смертеныши?

— Я послала ихъ впередъ, чтобы они шли передъ нами, и открывали намъ двери.

— Какъ же ты вынешь мою душу? спросилъ онъ опять.

И она прижалась къ нему нѣжно, и шептала:

— „Стилетъ остеръ, и сладко ранитъ".

И прильнула, и цѣловала, и ласкала. И точно ужалила,— уколола въ затылокъ отравленнымъ стилетомъ. Сладкій огонь вихремъ промчался по жиламъ,— и уже мертвый лежалъ въ ея объятіяхъ.

И вторымъ уколомъ отравленнаго острія она умертвила себя, и упала мертвая на его трупъ.

ВЪ ТОЛПѢ.

I.

Древній и славный городъ Мстиславль справлялъ семисотлѣтіе со дня своего основанія.

Это былъ городъ богатый, — промышленный и торговый. Въ немъ самомъ и въ его окрестностяхъ понастроено было много фабрикъ и заводовъ, изъ которыхъ иные славились на всю Россію. Населеніе быстро возростало, особенно въ послѣдніе годы, и достигло внушительной цифры. Стояло много войска. Много жило рабочихъ, торговцевъ и чиновниковъ, студентовъ и литераторовъ.

Думцы рѣшили праздновать на славу день основанія города. Пригласили властей, позвали Парижъ и Лондонъ, а также Чухлому и Медынь, и еще нѣкоторые города, но съ очень строгимъ выборомъ.

— Знаете, чтобы не лѣзли всякіе,—объяснялъ городской голова, молодой человѣкъ купеческаго происхожденія и европейскаго образованія, извѣстный тонкою галантерейностью своего обхожденія.

Потомъ какъ-то вспомнили, что надо же позвать также Москву и Вѣну. И этимъ двумъ городамъ послали

приглашенія, но когда уже оставалось до праздника всего только двѣ недѣли.

Литераторы и студенты упрекали голову въ такой неумѣстной забывчивости. Голова смущенно оправдывался:

— Захлопотался. Совсѣмъ изъ ума вонъ. Такъ много дѣла,—вы не повѣрите. Рѣдко и дома ночую: все комиссія за комиссіей.

Москва не обидѣлась, — свои, молъ, люди, сочтемся,— и поспѣшила прислать депутацію съ адресомъ. Веселая же Вѣна ограничилась открыткою съ поздравленіемъ. Открытка была художественно разрисована: голый мальчикъ въ цилиндрѣ сидѣлъ верхомъ на бочкѣ, и держалъ въ поднятой рукѣ бокалъ съ пивомъ. Пиво пышно пѣнилось, мальчикъ весело и плутовато улыбался. Онъ былъ круглолицый и румяный, и члены городской управы нашли, что улыбка его вполнѣ прилична торжеству, — веселая, добро-нѣмецкая. И весь рисунокъ нашли очень стильнымъ. Только не совсѣмъ согласны были въ опредѣленіи его стиля: одни говорили: „модернъ“, другіе: „рококо“.

Въ городѣ немощеномъ, пыльномъ, грязномъ и темномъ,— въ городѣ, гдѣ было много уличныхъ скверныхъ мальчишекъ, и мало школъ,—въ городѣ, гдѣ бѣдныя женщины, случалось, рожали на улицахъ,—въ городѣ, гдѣ ломали старыя стѣны знаменитой въ исторіи крѣпости, чтобы добыть кирпича на постройку новыхъ домовъ,—въ городѣ, гдѣ по ночамъ на людныхъ улицахъ буйствовали хулиганы, а на окраинахъ безпрепятственно обворовывались жилища обывателей подъ громкіе звуки трещотокъ въ рукахъ дремотныхъ ночныхъ сторожей, — въ этомъ полудикомъ городѣ для

съѣхавшихся отовсюду почетныхъ гостей и властей устраивались торжества и пиршества, никому не нужныя, и щедро тратили на эту пустую и глупую затѣю деньги, которыхъ не хватало на школы и больницы.

И для простого народа, — нельзя же и безъ него обойтись,—готовились увеселенія на городскомъ выгонѣ, въ мѣстности, именуемой почему-то Опалихою. Строились балаганы, — одинъ для народной драмы, другой для феерін, третій для цирка,—ставились американскія горы, качели, мачты для лазанія на призъ. Скоморошьему дѣлу купили новую бороду, кудельную, и обошлась она городу дороже шелковой, — ужъ очень художественно сдѣлана.

Для раздачи народу изготовили подарки. Предполагали давать каждому кружку съ городскимъ гербомъ и узелокъ: платокъ съ видомъ Мстиславля, и въ немъ пряники да орѣхи. И такихъ кружекъ да платковъ съ пряниками и орѣхами наготовили много тысячъ. Заготовляли заблаговременно, — а потому пряники стали ко дню праздника черствые, а орѣхи—гнилыя.

За недѣлю до дня, назначеннаго для народнаго праздника, на Опалихѣ поставили столы и пивные буфеты, и двѣ эстрады, — платную для публики, и другую для почетныхъ приглашенныхъ.

Между буфетами оставили узкіе проходы, чтобы за подарками къ столамъ подходили по очереди и по одному человѣку. Такъ придумалъ голова, для вящаго порядка. Онъ былъ умный и разсудительный молодой человѣкъ.

Наканунѣ праздника привезли подарки, сложили ихъ въ сарай, и заперли.

Народъ, заслышавъ про увеселенія и про подарки,

толпами шелъ со всѣхъ сторонъ къ древнему и славному городу Мстиславлю, крестясь издали на золотыя маковки его многочисленныхъ церквей. Говорили, что подарки-то подарками, а что кромѣ того будутъ еще на Опалихѣ бить фонтаны изъ водки, и пить водки можно будетъ сколько хочешь.

— Хоть опейся.

Многіе приходили издалеча. И заранѣ. Уже наканунѣ праздника на городскихъ улицахъ шлялось много дальнихъ пришельцевъ. Больше всего было крестьянъ, много было и фабричныхъ рабочихъ. Были и мѣщане изъ сосѣднихъ городовъ. Приходили, а кто и пріѣзжалъ.

И вотъ уже нѣсколько дней продолжалось празднованіе въ городѣ. Вѣяли флаги на домахъ, висѣли гирлянды изъ зелени. Служились молебствія. Сдѣлали парадъ войскамъ. Потомъ смотръ пожарной командѣ. На торговой площади былъ базаръ, веселый и шумный.

Наѣхало много знатныхъ посѣтителей, своихъ и заграничныхъ, лицъ чиновныхъ и сановныхъ, и много любопытныхъ туристовъ. Мѣстные жители толпами выходили на улицы, и глазѣли на пріѣзжихъ гостей. Знатные иностранцы были предметомъ особаго вниманія, не очень, впрочемъ, дружелюбнаго. Старались и нажиться: квартиры, пища, товары, все вздорожало.

Насталъ канунъ народнаго праздника. Городъ, какъ и всѣ эти дни, горѣлъ праздничными огнями. Въ городскомъ театрѣ былъ назначенъ парадный спектакль, а послѣ него — большой балъ въ губернаторскомъ домѣ.

А толпа валила на Опалиху. И надзора за нею не было. Раздача подарковъ назначена была съ десяти часовъ утра, и городское начальство было увѣрено, что раньше ранняго утра никто не пойдетъ на Опалиху. Но раньше ранняго утра была ночь, и еще раньше былъ вечеръ. И съ вечера стала толпа собираться на Опалиху, такъ что къ полуночи передъ сараями, отдѣлявшими площадь народнаго гулянья отъ городского выгона, стало тѣсно, шумно и тревожно.

Говорили, что собралось нѣсколько сотъ тысячъ. Даже полмилліона.

II.

На Никольской площади у самаго обрыва стоялъ домикъ Удоевыхъ. Надъ обрывомъ разбитъ былъ садъ, и изъ него открывался великолѣпный видъ на нижнія части города, Зарѣчье и Торговый конецъ, и на окрестности.

Съ высоты все очищалось и казалось маленькимъ, красивымъ и нарядымъ. Мелкая, грязная Сафатъ рѣка отсюда являлась узкою лентою перемѣнчивой окраски. Дома и торговые ряды стояли игрушечные, экипажи и люди двигались мирно, тихо, безшумно и безцѣльно, пыль вздымалась легкая, еле видная, и тяжкіе ломовые грохоты доносились наверхъ едва слышною музыкою подземелья.

Противъ дома Удоевыхъ, черезъ площадь — казначейство, окрашенное охрою, унылое двухъэтажное зданіе. Тамъ служилъ глава семьи, статскій совѣтникъ Матвѣй Θедоровичъ Удоевъ.

Заборъ около дома Удоевыхъ былъ сѣренькій и прочный, бесѣдка въ саду стояла такая милая и уют-

ная, сирень благоухала, плодовыя деревья и ягодные кусты обѣщали что-то радостное и сладостное,—хозяйственно, основательно устроилась семья стараго и почтеннаго чиновника.

Дѣти Удоева, пятнадцатилѣтній гимназистъ Леша и его двѣ сестры, Надя и Катя, дѣвицы двадцати и восемнадцати лѣтъ, тоже собрались итти на Опалиху, на праздникъ. Оттого они были такъ веселы, и такъ радостно волновались.

Леша былъ бѣлый, смѣшливый и прилежный мальчикъ. Особыхъ, яркихъ примѣтъ онъ не имѣлъ: учителя въ гимназіи часто смѣшивали его съ другимъ, тоже бѣлолицымъ и скромнымъ гимназистомъ. Дѣвицы тоже были скромныя, веселыя и добрыя. Старшая, Надя, была поживѣе, непосѣдлива, и порою даже шаловлива. Младшая, Катя, была совсѣмъ тихоня, любила помолиться, особенно въ монастырѣ, и очень легко переходила отъ смѣха къ слезамъ и отъ плача къ смѣху, — и обидѣть ее было легко, и утѣшить, и насмѣшить — не трудно.

И мальчику, и дѣвицамъ очень хотѣлось достать по кружкѣ. Они еще заранѣ выпросились у родителей — итти на Опалиху.

Отпускали ихъ на Опалиху не охотно. Мать ворчала. Отецъ молчалъ. Ему было все равно. Впрочемъ тоже не нравилось.

Матвѣй Өедоровичъ Удоевъ былъ молчаливый, высокій, рябой и равнодушный человѣкъ. Пилъ водку, но въ умѣренномъ количествѣ, и почти никогда не спорилъ съ домашними. Домашняя жизнь шла мимо него. Какъ и вся жизнь...

Проходила мимо, какъ облака, пролетающія и тающія на пронизанномъ солнечными свѣтами небѣ... Мимо,

какъ неутомимо шагающій странникъ, мимо ненужныхъ ему зданій... Какъ вѣтеръ, вѣющій изъ страны далекой... Мимо, мимо, все мимо...

III.

Леша и обѣ сестры стояли у воротъ, и смотрѣли на прохожихъ. Было шумно и людно. Шли люди, нарядившіеся, и видно, что чужіе. Шли больше въ одну сторону,—къ Опалихѣ. Гулъ среди толпы наводилъ на дѣтей смутную тревогу.

Подошли сосѣди, Шуткины: молодой человѣкъ, мальчикъ и двѣ дѣвушки. Перебросились нѣсколькими незначительными словами, какъ часто встрѣчающіеся и привыкшіе другъ къ другу люди.

— Идете?—спросилъ старшій Шуткинъ.

— Идемъ, утромъ!—отвѣтилъ ему Леша.

Надя и Катя молча улыбнулись, радостно и слегка смущенно. Шуткины чему-то засмѣялись. Переглянулись. Пошли къ себѣ домой.

— Они хотятъ раньше насъ итти,—догадалась Надя.

— Ну, и пусть,—сказала Катя, и опечалилась.

Домъ Шуткиныхъ стоялъ рядомъ съ усадьбою Удоевыхъ. Выдѣлялся своимъ неряшливымъ и ветхимъ видомъ.

Молодые Шуткины были всѣ порядочные сорванцы и шалопаи. Пускались иногда на дерзкія шалости. Подбивали порой и дѣтей Удоевыхъ на шалости, и нерѣдко довольно крупныя.

Шуткины были смуглые, черноволосые, какъ цыганы. Старшій братъ служилъ письмоводителемъ у мирового судьи. Лихо игралъ на балалайкѣ. Сестры,

Елена и Наталья, любили пѣть и плясать. Дѣлали это съ большимъ одушевленіемъ. Младшій братъ Костя былъ отчаянный озорникъ. Учился въ городскомъ училищѣ. Не разъ грозили выгнать его оттуда. Пока еще держался кое-какъ.

Удоевы вернулись домой. Было неловкое и тревожное настроеніе. Не сидѣлось на мѣстѣ.

Уже рѣшили итти рано утромъ. Но сборы начались съ ранняго вечера. И чѣмъ ниже клонилось усталое солнце, тѣмъ сильнѣе наростало безпокойство и нетерпѣніе дѣтей. Все выбѣгали къ воротамъ, посмотрѣть, послушать, поболтать съ сосѣдями, съ прохожими.

Больше всѣхъ безпокоилась Надя. Она очень боялась, что опоздають. Досадливо говорила брату и сестрѣ:

— Вы проспите, непремѣнно проспите, ужъ я это предчувствую.

И нервно поламывала тонкіе, хрупкіе пальцы, что у нея всегда служило признакомъ сильной взволнованности.

Въ отвѣтъ ей Катя спокойно улыбалась, и увѣренно говорила:

— Ничего, не опоздаемъ.

— Надо же и спать,—лѣниво сказалъ Леша.

И вдругъ ему стало лѣнь, и онъ подумалъ, что непріятно и не къ чему рано вставать, и не захотѣлось итти. Надя быстро и горячо возражала:

— Вотъ еще! спать. Ничего не надо спать. Я совсѣмъ сегодня не буду спать.

— И ужинать не будешь?—поддразнивающимъ голосомъ спрашивалъ Леша.

И вдругъ всѣмъ имъ стало казаться, что нарочно

долго не даютъ ужина, и забезпокоились. Часто смотрѣли на часы. Приставали къ отцу.

Надя ворчала:

— Что это, сегодня, какъ нарочно, часы у насъ отстаютъ. Ужинать давно пора. Этакъ не мудрено и проспать завтра, если за полночь ужинать не даютъ.

Отецъ угрюмо говорилъ:

— Ну, чего пристаете? То одинъ, то другой.

И смотрѣлъ на дѣтей неразличающимъ взоромъ, словно онъ видѣлъ въ нихъ только то, что ихъ трое. Равнодушно вынималъ часы, и показывалъ. Было еще совсѣмъ рано. Никогда такъ рано не собирались ужинать.

Между тѣмъ въ домъ къ Удоевымъ съ разныхъ сторонъ приходили вѣсти о томъ, что на Опалиху уже собираются,—идутъ толпами,—что тамъ уже толпа,—цѣлый лагерь, съ ночлегами, и чуть ли даже не съ палатками.

И уже начали догадываться дѣти, что утромъ поздно будетъ итти на Опалиху,—уже тогда не добраться будетъ. И отъ этого настроеніе въ домѣ Удоевыхъ дѣлалось тревожнымъ не въ мѣру.

Мимо дома Удоевыхъ шли. Все больше и больше народа проходило. Въ толпѣ были и плохо одѣтые. Было много мальчишекъ. Было шумно, весело и празднично.

IV.

У воротъ дома Удоевыхъ остановилось нѣсколько человѣкъ. Слышался оживленный говоръ, споръ, смѣхъ.

Леша и сестры опять выбѣжали за ворота.

Стояли кучкою нѣсколько мужичковъ и бабъ. Съ ними нѣсколько мѣщанъ изъ здѣшнихъ. Разговаривали громко, недружелюбнымъ тономъ, словно переругивались.

Пожилая бойкая мѣщанка съ остренькимъ и хитрымъ лицомъ, одѣтая въ ситцевое платье, яркое отъ праздничной нарядности и шумящее отъ накрахмаленной новизны, съ розовымъ платочкомъ на масляно причесанной головѣ, говорила высокому, степенному крестьянину:

— Да вы бы на постояломъ остановились.

Старикъ крестьянинъ отвѣчалъ неторопливо и вдумчиво, словно подыскивая точныя слова для выраженія значительной и глубокой мысли:

— Дерутъ больно ваши дворники. Дерутъ, слышь. Никакъ, значитъ, ты съ ними не сообразишься. Обрадовались. Креста на вороту нѣтъ у людей. Дорвались слышь, до добычи. Дерутъ больно. Разбогатѣть, знатко, охота.

Добродушный паренекъ, бѣлолицый и свѣтлоголовый, съ вѣчною улыбкою на пухлыхъ губахъ и съ кроткими ясно-голубыми глазами, сказалъ:

— Есть добрые люди, что и даромъ пускаютъ.

На него всѣ посмотрѣли насмѣшливо. Заговорили:

— Есть, да не здѣсь.

— Поищи-ка такихъ, да и намъ скажи.

Смѣялись, почему-то злорадно, хотя повидимому, для злорадства не было никакого основанія. Паренекъ ухмылялся, поглядывалъ вокругъ невинными глазами, и увѣрялъ:

— А меня пустили. Правда. Одна тутъ пустила.

— Гладокъ ты больно,—сказалъ рыжій и корявый мужикъ.

Подошли двѣ сестры Шуткины, Елена и Наталья, во всемъ похожіе очень одна на другую, такъ что странно было смотрѣть, что одна изъ нихъ рыжая, а другая черноволосая, и ихъ старшій братъ. Слушали, и лукаво улыбались, и почему-то казалось сегодня, что улыбки у нихъ скверныя, и сами они нечистые.

Подмигивая сестрамъ Удоевымъ, старшій Шуткинъ сказалъ:

— Рано вставать будете завтра?

— Да,—живо заговорилъ Лена,—встанемъ пораньше, до восхода, раньше всѣхъ придемъ.

И вдругъ вспомнилъ, что никакъ невозможно притти раньше всѣхъ, и стало досадно.

— Ну да, встанете, гдѣ вамъ!—сказалъ Шуткинъ.

Сестры его смѣялись нагло и лукаво. И непонятно было, зачѣмъ и чему онѣ смѣются. Старшій Шуткинъ сказалъ:

— Что рано ходить! Это выйдеть, какъ мы въ прошломъ году въ монастырь ходили къ заутренѣ.

— Вотъ-то была потѣха!—съ хохотомъ крикнула Елена

И видно было, что и ей, и ея рыжей сестрѣ все равно было, надъ чѣмъ смѣяться, и вовсе не казалось страннымъ и непристойнымъ издѣваться надъ собою же.

Шуткинъ разсказывалъ:

— Это еще въ прошломъ году было. Легли мы рано, безъ огня. Выспались, встали. Часовъ у насъ въ тѣ времена не было, они въ ученьи залежались по той простой причинѣ, что у насъ тогда было превышеніе расходовъ надъ доходами, и была необходимость при-

бѣгнуть къ выпуску облигацій внѣшняго двѣнадцати-процентнаго займа. Ну вотъ, мы и пошли. Пошли, пошли да и пришли. Видимъ, еще заперто все. Думаемъ, еще рано пришли. Сѣли мы на скамейку у вратъ обители святой. Сторожъ къ намъ подошелъ, спрашиваетъ этакъ съ довольно натуральнымъ удивленіемъ: — вы что тутъ разсѣлись? Аи дома, говоритъ, скучно стало? – А мы говоримъ ему очень даже непринужденно,—къ заутрени, говоримъ, пришли; монахи то ваши, говоримъ, разоспались сегодня. А онъ намъ: экъ васъ, говоритъ, принесло ни свѣтъ, ни заря!—да вѣдь еще только одиннадцать часовъ недавно било. Неужели, говоритъ, дожидаться будете? Пошли бы, говоритъ, домой. Ну мы послушались разумнаго совѣта, пошли себѣ къ дому. Было смѣху.

И Шуткины, и Удоевы смѣялись.

Въ это время прибѣжалъ, запыхавшійся и потный младшій Шуткинъ, Костя. Радостно кричалъ:

— Я уже слеталъ на Опалиху.

— Ну что? какъ?—спрашивали его и свои, и Удоевы.

Костя съ радостнымъ хохотомъ говорилъ:

— Мужичья привалило видимо невидимо. Все поле чисто запрудили.

— Вотъ чудаки-то!—съ досадливымъ смѣхомъ сказалъ Леша,—вѣдь въ десять часовъ раздача начнется, а они съ вечера пошли.

Старшій Шуткинъ засмѣялся, подмигнулъ сестрамъ.

— Кто вамъ это сказалъ?—крикнулъ онъ.— Начало въ два часа будетъ, чтобы заморскіе гости успѣли посмотрѣть. Они рано не привыкли ложиться. И встаютъ поздно.

— Нѣтъ, это неправда, въ десять начало,— горячо возражалъ Леша.

— Нѣтъ, въ два, въ два,—въ голосъ закричали всѣ Шуткины.

И по ихъ наглому смѣху и переглядыванію сразу было видно, что они лгутъ.

— Ну, я сейчасъ вѣрно узнаю,—сказалъ Леша.

Сбѣгалъ къ секретарю городской управы,- его домъ былъ недалеко. Вернулся ликующій. Кричалъ издали:

— Въ десять.

Шуткины посмѣивались, и уже не спорили.

— Да это вы нарочно придумали,—сказалъ Леша,— чтобы уйти пораньше, безъ насъ. Ишь вы какіе!

Оживленно пробѣжалъ гимназистъ Пахомовъ, тонкій и вертлявый мальчикъ. Наскоро поздоровался съ Удоевыми. Шуткины смотрѣли на него недружелюбно.

— Ну что, идете?—спросилъ онъ, и не дожидаясь отвѣта сказалъ:

— Мы съ вечера. Многіе съ вечера идутъ.

Торопливо простился. Глянулъ на Шуткиныхъ, хотѣлъ было поклониться, но передумалъ, и убѣжалъ. Шуткины злобно смотрѣли за нимъ. Смѣялись. Удоевымъ непріятно страненъ казался ихъ смѣхъ,—къ чему онъ?

— Чистоплюйчикъ!—презрительно сказалъ Костя.

Елена злобно и громко сказала:

— Хвастунишка. Гдѣ ему! Вретъ.

Вечеръ былъ такой тихій и прекрасный, что ненужно-грубыя слова Шуткиныхъ звучали особенно рѣжущимъ разладомъ.

Солнце только что зашло. На облакахъ еще отра-

жался пламенный отблескъ его прощальныхъ, его багряномертвыхъ лучей.

Такой прекрасный, такой мирный былъ вечеръ... А жгучій ядъ мертваго Змія еще струился надъ землею.

V.

Удоевы вернулись домой. Было жутко, и неловко, и не знали, что съ собою дѣлать. Изъ-за всякаго пустяка вспыхивали ссоры и споры. Непосѣдливость обуяла всѣхъ.

И Леша сдѣлался вдругъ безпокойнымъ и тревожнымъ, какъ Надя.

— Придемъ къ шапочному разбору, — громко и досадливо сказалъ онъ.

Какъ часто бываетъ, эти незначительныя слова рѣшили дѣло. Надя сказала:

— Такъ пойдемте лучше съ вечера.

И съ нею всѣ согласились, и вдругъ зарадовались.

Весь вдругъ покраснѣвъ, Леша кричалъ:

— Конечно, ужъ если итти, такъ теперь.

Побѣжали всѣ трое къ отцу,— спрашиваться.

— Мы передумали, пойдемъ съ вечера! — кричала Надя, вертясь передъ отцомъ.

Отецъ угрюмо молчалъ.

— Ночь-то одну не поспать, — не бѣда, — говорилъ Леша, словно стараясь убѣдить въ чемъ-то отца.

Но отецъ продолжалъ молчать, и лицо его было попрежнему неподвижно-угрюмо.

Дѣти оставили его. Побѣжали къ матери. Мать заворчала.

— Папа позволилъ,—кричалъ Леша.

И сестры смѣялись, и болтали весело, звонко.

Съ радостнымъ визгомъ бѣгали всѣ трое по дому, по саду. Торопили ужинъ.

Вспомнили о Шуткиныхъ. Почему-то досадно было воспоминаніе о нихъ. Леша сказалъ сестрамъ:

— Только Шуткинымъ ни гу-гу.

Сестры согласились.

— Само собою,—сказала Надя,—ну ихъ!

Катя нахмурилась, протянула:

— Такіе противные!

И сейчасъ опять радостно засмѣялась.

За ужиномъ дѣти ѣли торопливо, и не хотѣлось ѣсть, и досадно было, что старики такъ копаются, какъ будто и нѣтъ ничего особеннаго.

Когда уже кончали ужинъ, отецъ вдругъ уставился на дѣтей, и долго смотрѣлъ на нихъ, такъ долго, что они присмирѣли подъ его угрюмо-равнодушнымъ взглядомъ, и наконецъ сказалъ:

— Съ пьяными толкаться,—большое удовольствіе.

Надя быстро покраснѣла, и принялась увѣрять:

— Да нѣтъ пьяныхъ. Никакихъ нигдѣ нѣтъ пьяныхъ. Право, даже странно, а только около нашего дома сегодня весь день совсѣмъ не видно было пьяныхъ. Такъ что даже удивительно.

Катя весело засмѣялась, и сказала:

— Только о подаркахъ и думаютъ, и пить не хотятъ. Не до того.

Наконецъ кончился ужинъ.

Побѣжали,—одѣваться. Дѣвицы хотѣли было принарядиться по-праздничному. Но мать рѣшительно возстала.

— Куда? зачѣмъ? съ мужиками толкаться? — сердито говорила она.

И видно было по всей ея внезапно насторожившейся фигурѣ и по ея сѣрому, незначительному лицу, что она ни за что не допуститъ порчи праздничнаго платья.

Пришлось дѣвицамъ надѣть нарядъ попроще.

Наконецъ выбрались изъ дому. Побѣжали по крутому съѣзду къ рѣкѣ. И вдругъ, едва спустились, увидѣли Шуткиныхъ.

Пришлось итти вмѣстѣ. Было досадно.

Досадно было и Шуткинымъ. Ни тѣ, ни другіе не придутъ раньше. Потерянъ случай похвастаться, подразнить.

Шуткины придумывали разныя насмѣшки надъ Удоевыми. Нѣсколько разъ по дорогѣ чуть не поссорились.

Вечеръ былъ какъ день, оживленный и шумный.

Надъ городомъ тихо мерцали звѣзды, какъ всегда, такія далекія, такія незамѣтныя для разсѣяннаго взгляда, и такія близкія, когда вглядишься въ ихъ голубыя околицы.

Ясное блѣдное небо быстро темнѣло, и радостно было смотрѣть на неизмѣнно-совершающееся въ немъ таинство открывающей далекіе міры ночи.

Въ монастырѣ звонили,—отходила всенощная. Свѣтлые и печальные звуки медленно разливались по землѣ. Слушая ихъ, хотѣлось пѣть и плакать, и итти куда-то.

И небо заслушалось, заслушалось мѣднаго свѣтлаго плача,—нѣжное, умиленное небо. Заслушались, тая, и

тихія тучки, заслушались мѣднаго гулкаго плача,— тихія, легкія тучки.

И воздухъ струился разнѣженно-тепелъ, какъ отъ множества радостныхъ дыханій.

Приникла и къ дѣтямъ умиленная нѣжность высокаго неба и тихо-тающихъ тучекъ. И вдругъ все окрестъ, и колокольный плачъ, и небо, и люди, — на мигъ все затлѣлось и стало музыкою.

Все стало музыкою на мигъ, — но отгорѣлъ мигъ, и стали снова предметы и обманы предметнаго міра.

Дѣти торопились изъ города, туда, на долину Опалихи.

А въ городѣ людно было, и шумно, и казалось, что весело. Надъ домами вѣяли флаги. На улицахъ горѣли праздничные огни,—и отъ этого кое-гдѣ пахло противнымъ саломъ.

Толпы ходили по улицамъ, по съѣздамъ, по набережной рѣки Сафатъ. Шныряли и смѣялись въ толпѣ дѣти. И все было звонко и весело, какъ въ сказкѣ, и какъ не бываетъ въ жизни, обычной и сѣрой. И отъ этого вся насквозь, закутанная общимъ гуломъ, людская молвь казалась звучащею и вдругъ сбыточною.

Проѣзжали экипажи съ почетными гостями, улыбались толпѣ и любезныя лица важныхъ господъ и госпожъ.

Слышался изъ экипажей тихій, невнятный, чуждый говоръ и легкій смѣхъ.

Враждебными глазами глядѣли на проѣзжающихъ богатыхъ господъ Шуткины. И злыя и глупыя у нихъ рождались мысли.

И уже когда выходили изъ города, старшій Шуткинъ, глупо скаля зубы, сказалъ:

— Ловко бы теперь подпалить городъ. Имѣетъ свою пріятность, я вамъ доложу.

Его сестры и Костя захохотали.

Катя дрогнула, передернула плечиками, воскликнула тревожно:

— Что вы, какъ можно! Какіе вы страхи говорите!

— То-то была бы суматоха, — восхищался Костя, прыгая и визжа.

— Да вѣдь и вы погорѣли бы,—съ удивленіемъ сказала Надя,—что жъ вамъ радоваться!

— Ну, вотъ,—возразила Наталья,—чему у насъ горѣть-то! Не жалко.

Надя посмотрѣла на нее. Въ слабомъ отблескѣ дымныхъ праздничныхъ плошекъ ея веснучатое лицо и рыжіе волосы являлись пламенѣющими, и оттого, что ея ноздри трепетали, казалось, что по лицу бѣжитъ огонь.

VI.

До Опалихи добѣжали быстро, подгоняемые лихорадочно-радостнымъ волненіемъ.

Еще издали доносился смутный и грозный гулъ людского множества. Наводилъ жуткій и сладкій страхъ. Въ набѣгающей съ порывами ночного вѣтра тьмѣ они бѣжали. Съ ними, то перегоняя, то отставая, шли, торопились люди. Большіе и малые. Мужчины, женщины дѣти и старики. Больше молодежь. И всѣ были такъ же взволнованы, и голоса звучали неровно, и смѣхъ поднимался и вдругъ затихалъ.

За поворотомъ дороги вся долина Опалихи открылась разомъ, темная, жутко-шумная, тревожная.

Кое-гдѣ горѣли костры, на окраинѣ Опалихи,—и отъ этого поле казалось еще болѣе темнымъ.

Видны были огни костровъ и дальше. Но видно было, какъ они одинъ за другимъ дымно гаснутъ въ дали дымно-шумнаго поля. Должно быть, толпа гасила ихъ ногами, топтала грубыми сапогами ихъ внезапныя, пламенно-стремящіяся души.

И еще болѣе жуткій, и еще болѣе сладкій страхъ схватилъ Удоевыхъ, затрепеталъ за ихъ дрогнувшими плечами. Но они храбрились.

Шуткиныхъ радовало, что будетъ давка, безпорядокъ, смятеніе, и потомъ можно будетъ долго разсказывать любопытныя и значительныя подробности разныхъ происшествій.

Шуткинъ смотрѣлъ на шумное, темное поле, глупо ухмылялся, и говорилъ съ непонятною радостью:

— Безпремѣнно кого-нибудь изъ слабенькихъ раздавятъ. Вотъ ужъ вы увидите.

Но не смѣли Удоевы повѣрить въ близость несчастія и смерти. Это поле, гдѣ шумное множество,—и смерть. Не можетъ быть.

— Да ужъ не безъ того, что раздавятъ,—странно-незнакомымъ голосомъ сказала одна изъ сестеръ Шуткиныхъ.

И кто-то засмѣялся грубо и невесело темнымъ въ темнотѣ смѣхомъ.

— Ну да!—равнодушно сказала Катя.

Стало на минуту скучно. Отъ того, что темно. Отъ мгновенныхъ и невѣрныхъ озареній костровъ. И стали смотрѣть, и слушать, и пошли впередъ, куда-нибудь.

По озареннымъ кострами лицамъ,—по большей части

очень молодымъ, — но беззаботнымъ голосамъ и смѣху казалось, что всѣмъ очень весело.

По всему полю ходили, стояли, сидѣли шумныя множества людей.

Втягиваясь все болѣе въ это смутное многолюдство, Удоевы заразились опять веселостью и бодростью толпы, оставившей привычные людскіе кровы и стѣны.

Стало весело. Слишкомъ весело.

Шуткины отошли куда-то, и уже не встрѣчались больше. Но за то Удоевы встрѣчали другихъ знакомыхъ. Многихъ видѣли. Перекидывались веселыми разговорами. Сходились, и опять расходились въ толпѣ.

Шли впередъ, а можетъ быть, въ сторону, и поле казалось безконечнымъ. И казалось такъ занимательно, что попадаются все иныя лица.

— Да тутъ превесело. И не замѣтишь, какъ ночь пройдетъ,—говорила Надя, нервно позѣвывая и поеживаясь тоненькими плечиками.

И долго шли, останавливаясь, опять шли, путались среди костровъ, заслушивались чужихъ разговоровъ, сами разговаривали совсѣмъ съ чужими людьми.

Сначала казалось, что идутъ къ какой-то цѣли,— все ближе къ ней, и все было опредѣленно и связно, хотя и тонуло въ сладкой жуткости многолюдства.

Потомъ вдругъ все стало отрывочнымъ, потеряло связность, и какіе-то клочки ненужныхъ и странныхъ впечатлѣній зароились вокругъ...

VII.

Все стало отрывочно и несвязно, и казалось, что предметы, нелѣпые и ненужные, возникали изъ ничего.

Изъ глупой и враждебной тьмы возникало неожиданно нелѣпое.

Посреди поля была когда-то для чего-то вырыта канава. Оставалась она и теперь, ненужная, безобразная, поросшая черною въ темнотѣ, колючею травою, и казалась почему-то странною и странно-значительною.

Дѣти подошли къ ея краю. Два телеграфиста сидѣли, свѣсивъ ноги въ канаву, и разговаривали. Вспоминали знакомыхъ барышень, и почему-то произносили, съ большимъ удовольствіемъ, непечатныя слова.

Удоевы пошли по краю канавы. Увидѣли мостъ черезъ него, досчатый, съ корявыми перилами. Пошли по мосту. Перила казались непрочными, невѣрными.

Леша сказалъ опасливо:

— Сюда столкнутъ, ноги поломаешь.

— А мы подальше уйдемъ,—сказала Надя.

Въ темнотѣ голосъ ея звучалъ неувѣренно и робко. Странно было, что нельзя видѣть, какъ движутся говорящія губы.

И опять шли дальше, среди гулкаго множества, переходя изъ озаренныхъ кострами круговъ въ кромѣшную тьму,—и опять поле казалось безконечнымъ.

— Ну и куда ты идешь?—говорилъ убѣждающимъ голосомъ одинъ пьяненькій оборвышъ другому,—задавятъ тебя, какъ клопа постельнаго.

— Пусть давятъ,—отвѣчалъ его товарищъ,—жизни мнѣ развѣ жалко? Задавятъ, плакать обо мнѣ будетъ некому.

Увидѣли колодецъ. Онъ былъ прикрытъ полусгнившими досками. Слабо удивились почему-то.

Пьяненькій мужичекъ, мотая взъерошенною длинною головою, заглядывалъ въ колодецъ, и тянулъ:

— И-ихъ.

Отбѣгалъ отъ колодца, вскрикивалъ:

— Маланья!

И опять возвращался къ ветхому срубу мелкими падающими шагами пьянаго человѣка.

Поглядѣли. Посмѣялись. Прошли. Долго еще слышали его пьяные вскрики.

— Я ножъ припасъ,—хриплымъ голосомъ сказалъ длинный и тощій оборванецъ.

Его товарищъ, такой же оборванный и почти такой же длинный, отвѣтилъ сладкимъ теноркомъ:

— И я.

— На всякъ случай,—опять послышался хриплый голосъ перваго.

И слышно было, какъ хихикаетъ другой.

Въ зыбкой темнотѣ, въ нервно-трепетномъ озареніи костровъ, вдыхая сладковатый дымъ сырого дерева, шли дѣти куда-то, Леша впередъ, за нимъ обѣ сестры.

Притворялись, что не страшно.

Опять поле казалось безконечнымъ, опять путали костры, а по усталости въ ногахъ думали, что идутъ уже давно.

— Колесимъ вокругъ да около,—сказалъ Леша.

И этими словами сказалась общая мысль. Катѣ стало грустно, а Надя притворно весело сказала:

— Ничего, дойдемъ, куда надо.

Вдругъ Леша упалъ. Ноги мелькнули вверхъ, головы не видно. Сестры бросились къ нему. Помогли выбраться,—оказалось, что онъ попалъ руками и головою въ какую-то неожиданную яму.

— Надо подальше отъ этого мѣста, здѣсь опасно, — сказала Надя.

Но и потомъ не разъ спотыкались на неровностяхъ почвы.

VIII.

— И баре туда же, — послышался возлѣ Удоевыхъ гнусный тенорокъ.

Не видно было, кто говоритъ, и кто смѣется, сочувствуя злымъ словамъ.

И поняли дѣти, что здѣсь вся толпа насквозь была враждебная, чужая, — непонятная и непонимающая. И тамъ, гдѣ горѣли костры, были видны лица, которыя сердито хмурились, глядя на гимназиста и его сестеръ.

Эти враждебные взоры смущали дѣтей. Непонятно было, за что вражда? откуда она выросла?

Какіе-то чужіе люди хмуро, непривѣтливо смотрѣли на проходящихъ мимо дѣтей.

Порою слышались циничныя шутки. И такъ какъ это было среди громадной толпы, и никто не думалъ заступиться, то дѣтямъ становилось страшно.

Пьяный мастеровой всталъ отъ костра, подошелъ къ дѣтямъ.

— Мамзель! — воскликнулъ онъ. — Со свиданіемъ имѣю честь проздравить. Очень пріятно. И всякое можемъ удовольствіе доставить вамъ. Желаемъ поцѣловаться.

Онъ покачнулся. Снялъ картузъ. Облапилъ Катю. Поцѣловалъ прямо въ губы.

Грохочущій хохотъ раздался въ толпѣ. Катя заплакала.

Леша крикнулъ что-то, бросился на пьянаго, и оттолкнулъ его.

Пьяный свирѣпо заворчалъ:

— По какому праву? Толкаться? А ежели я желаю поцѣловать? Какое въ этомъ есть неудовольствіе?

Сестры схватили Лешу за руки. Быстро увлекли въ темноту.

Были очень испуганы. Обида жгла томительно.

Захотѣлось уйти изъ этого темнаго и нечистаго мѣста. Но не могли найти дорогу. Опять огни костровъ путали, ослѣпляли глаза, являли мракъ чернѣе мрака, и дѣлали все непонятнымъ и разорваннымъ.

Скоро костры стали гаснуть. И стало равно темно въ воздухѣ, — и черная ночь приникла къ гулкому полю, и отяжелѣла надъ его шумами и голосами. Оттого, что не спали, и были въ толпѣ, казалось, что эта ночь — значительная, единственная и послѣдняя.

IX.

Еще не долго побыли, и уже стало противно, тошно, страшно.

Въ темнотѣ творилась для чего-то ненужная, неумѣстная и потому поганая жизнь. Безпокровные люди, далекіе отъ своихъ уютовъ, опьянялись дикимъ воздухомъ кромѣшной ночи.

Они принесли съ собою скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло-пьяными голосами. Ѣли вонючія снѣди. Пѣли непристойныя пѣсни. Плясали безстыдно. Хохотали. То тамъ, то здѣсь слышалась нелѣпая мышиная возня. Гармоника гнусно визжала.

Пахло вездѣ скверно, и все было противно, темно и страшно.

И уже повсюду голоса раздавались хмѣльные и хриплые.

Кое-гдѣ обнимались мужчины съ женщинами. Подъ однимъ кустомъ торчали двѣ пары ногъ,—и слышался изъ-подъ куста прерывистый, противный визгъ удовлетворяемой страсти.

Кое-гдѣ, на немногихъ свободныхъ мѣстахъ собирались кружки. Внутри что-то дѣлалось.

Какіе-то противные, грязные мальчишки откалывали казачка.

Въ другомъ кружкѣ пьяная безносая баба неистово плясала, и безстыдно махала юбкою, грязною и рваною. Потомъ запѣла отвратительнымъ, гнусавымъ голосомъ. Слова ея пѣсни были такъ же безстыдны, какъ и ея страшное лицо, какъ и ея ужасная пляска.

— Зачѣмъ у тебя ножъ? – строго спрашивалъ кого-то городовой.

— Человѣкъ я рабочій,—слышался наглый голосъ,—струментъ захватилъ по нечайности. Могу и пырнуть.

Хохотъ раздался.

И вотъ, въ этой противной толпѣ, брошенныя въ гнусный разгулъ не въ пору разбуженной жизни, шли дѣти, и терялись въ многолюдствѣ. Поле казалось безконечнымъ, потому что они кружили на небольшомъ пространствѣ.

Проходить становилось все труднѣе,—все тѣснѣе дѣлалось вокругъ.

Казалось, что встаютъ и встаютъ окрестъ невѣдомо откуда взявшіеся люди.

И вдругъ вокругъ Удоевыхъ сдвинулась толпа. Стало тѣсно. И сразу показалось, что по землѣ стелется и ползетъ къ лицу тяжкая духота.

А съ темнаго неба темная и странная струилася прохлада. Хотѣлось глядѣть вверхъ, на бездонное небо, на прохладныя звѣзды.

Леша привалился къ Надину плечу. Мгновенный сонъ охватилъ его...

...Летитъ въ синемъ небѣ, легкій, какъ вольная птица...

Толкнулъ кто-то. Леша проснулся. Соннымъ голосомъ сказалъ:

— А я чуть не заснулъ. Что-то даже видѣлъ во снѣ.

— Ужъ ты не спи,—озабоченно сказала Надя,—еще растеряемся въ толпѣ.

— А я бы заснула,—тихо и жалобно сказала Катя.

— Право, какъ бы не растеряться,- говорила Надя.

Старалась подбодриться. Заговорила живо:

— Лешу поставимъ въ серединѣ.

— Ну, да,—сказалъ Леша вяло.

Онъ былъ блѣденъ и странно скученъ.

Но сестры поставили его между собою. Развлекались тѣмъ, что оберегали его отъ толчковъ. Пока толпа не нарушила ихъ порядка, смятенно толкая ихъ во всѣ стороны.

— Мы пришли, теперь бы и раздавать,- послышался странно веселый и равнодушный голосъ.

И кто-то отвѣчалъ:

— Погоди,—ужо утромъ господа припожалуютъ, которые къ раздачѣ приставлены.

X.

Было тѣсно и душно, хотѣлось выбраться изъ толпы, на просторъ, вздохнуть всею грудью.

Но не могли выбраться. Запутались въ толпѣ, темной и безликой,- какъ челнокъ запутался въ тростникѣ.

Уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по волѣ туда или сюда. Приходилось влечься вмѣстѣ съ толпою,—и тяжки, и медленны были движенія толпы.

Удоевы медленно двигались куда-то. Думали, что идутъ впередъ, потому что всѣ шли туда же. Но потомъ вдругъ толпа тяжко и медленно пятилась. Или медленно влеклась въ сторону. И тогда уже совсѣмъ непонятно стало, куда надо итти, гдѣ цѣль и гдѣ выходъ.

Завидѣли близко, немного въ сторонѣ, темныя стѣны Къ нимъ почему-то захотѣлось выбраться. Что-то знакомое, домашнее почудилось въ нихъ.

Ничего не сказали другъ другу, но стали протискиваться къ этимъ темнымъ стѣнамъ.

И скоро стояли около одного изъ народныхъ театровъ.

Казалось, что около стѣны есть что-то знакомое, защитное, — уютъ какой-то,—и потому не такъ было страшно.

Темный верхъ стѣны подымался, закрывалъ половину неба, и отъ этого терялось жуткое впечатлѣніе стихійно-безбрежной толпы.

Дѣти стояли, прижавшись къ стѣнѣ. Робко смотрѣли на сѣрые, тусклые облики людей, которые колыхались такъ близко. И жарко было отъ дыханій близкаго множества.

А съ неба холодная приникала порывами прохлада и казалось, что душный земной воздухъ борется съ небесною прохладою.

— Итти бы лучше домой,—жалобно сказала Катя.— Все равно, не протолкаться.

— Ничего, подождемъ,—отвѣтилъ Леша, стараясь казаться бодрымъ и веселымъ.

Въ это время тяжкое по толпѣ прошло движеніе,— точно протискивался кто-то къ стѣнѣ, прямо на дѣтей. Ихъ прижали къ стѣнѣ,—и совсѣмъ стало душно и тяжело дышать.

Потомъ толпа съ усиліемъ раздалась, и казалось, что стѣна дрожитъ и колеблется,—и изъ толпы словно вынырнули два очень блѣдные студента съ ношею.

Несли дѣвочку, и она казалась неживою. Блѣдныя руки ея свѣшивались, какъ мертвыя, и на лицѣ съ тѣсно-сжатыми губами и съ закрытыми глазами лежала тусклая синева.

Въ толпѣ послышался ропщущій говоръ:

— Слабенькая, а лѣзетъ.

— Чего родители смотрятъ,—пустили какую!

Въ смущенномъ переговариваніи толпы слышалось желаніе оправдать что-то недолжное,—и казалось, что эти люди на мигъ поняли, что не надо имъ быть здѣсь и тѣснить другъ друга.

XI.

Опять грубо и тяжко задвигалась толпа. Тяжелые толчки мучительно отдавались въ тѣлѣ. Грубые сапоги наступали на легко обутыя дѣтскія ноги.

Не устоять было у стѣны. Оттолкали, оттерли. Сдавили тѣснымъ кольцомъ. Опять стало страшно въ душномъ многолюдствѣ.

Головы дѣтей съ усиліемъ подымались вверхъ, и

уста ихъ жадно ловили перемежающіяся струи небесной прохлады, межъ тѣмъ какъ груди ихъ задыхались въ глухой и непонятной давкѣ.

Не то двигались куда-то, не то стояли. И уже стало непонятно, много ли прошло времени.

Мучительная жажда простора томила дѣтей.

И жажда.

Она медленно, уже давно, подкрадывалась. Вдругъ сказалась жалкими словами.

— Пить хочется,—сказалъ Леша.

И говоря это, онъ почувствовалъ, что уже губы его давно сухи, и во рту неловко и томительно отъ сухости.

— Да и мнѣ тоже,—сказала Катя, съ усиліемъ двигая запекшимися и поблѣднѣвшими губами.

Надя молчала. Но по ея поблѣднѣвшему и вдругъ осунувшемуся лицу и по ея сухо горящимъ глазамъ было видно, что и ее мучитъ жажда.

Пить. Хоть глоточекъ бы воды. Вода, святая, милая, прохладная, свѣжая.

Но негдѣ было взять воды.

И прохлада съ далекаго неба становилась все мгновеннѣе, зыбкая, невѣрная,—пахнетъ въ жаднораскрытые рты, и сгараетъ.

Надя икнула. Легонько дрогнула. Опять икнула, и опять, и опять.

Не удержаться. Такая мучительная въ тѣснотѣ и духотѣ икота.

Леша испуганно посмотрѣлъ на Надю. Какая она блѣдная!

— Господи,—сказала Надя, икая.—Какая мука! Охота была итти.

Катя заплакала тихонько. Быстрыя, мелкія слезинки, бѣгутъ одна за другою,—и не унять слезъ, и не отереть,—рукъ не поднять, такъ сдавили.

— Что вы толкаетесь!—пищалъ гдѣ-то близко тоненькій голосокъ.—Вы меня давите.

Хриплый, пьяный басъ отвѣчалъ злобно:

— Что? Я тебя давлю? А тебѣ такая церемонія не нравится? Ну, ты меня дави. Тутъ всѣ равны, чортъ тебя дери.

— Ай, ай, давятъ,—завизжалъ опять тотъ-же тоненькій голосокъ.

— Не визжи, соплякъ,—хрипѣлъ свирѣпый басъ. Ужо придешь домой, аль приволокутъ. А и быть тебѣ, щенокъ, безъ кишекъ.

Черезъ короткое мгновеніе тонкій и рѣзкій пронесся визгъ, безъ словъ, жалобный и жалкій. И въ отвѣтъ ему свирѣпый окрикъ:

— Не визжи.

Потомъ задавленный тонкій вопль.

Кто-то вскрикнулъ:

— Младенца задавили! Косточки хрустятъ. Царица Небесная!

— Косточки, косточки хрустнули!—завизжала баба.

Голосъ ея слышался близко, но ея за толпою не было видно.

И потомъ показалось, что она кричитъ гдѣ-то очень далеко. Оттолкали ее отъ этого мѣста? Или она задохнулась?

Дѣти были такъ сдавлены толпою, что трудно было дышать. Переговаривались хриплымъ шопотомъ. Не повернуться. Съ трудомъ могутъ посмотрѣть другъ на друга.

И странно смотрѣть другъ на друга, на милыя лица, омраченныя свинцовымъ въ тускломъ предразсвѣтномъ сумракѣ страхомъ.

Надя продолжала икать, икнула и Катя.

Чувствовалось окрестъ, во всей этой, такъ странно и такъ нелѣпо сжатой толпѣ, одно желаніе, мучительное, и потому еще не сознанное и потому еще болѣе мучительное: освободиться отъ этихъ страшныхъ тисковъ.

Но не было выхода,—и бѣшенство закипало въ безумной толпѣ, нелѣпо сдавленной по своей волѣ въ этомъ широкомъ полѣ, подъ этимъ широкимъ небомъ.

Люди звѣрѣли, и со звѣриною злобою смотрѣли на дѣтей.

Слышались хриплыя, страшныя рѣчи. Говорилъ кто-то близкій и равнодушный,—такъ странно спокойный,—что уже есть задавленные до смерти.

— Упокойничекъ-то стоитъ, такъ его и сжало,—слышался гдѣ-то близко жалобный шопотъ,—самъ весь синій, страшный такой, а голова-то мотается.

— Слышишь, Надя?—спросила шопотомъ Катя,—вонъ, говорятъ, мертвый стоитъ, задавленный.

— Врутъ, должно быть,—шепнула Надя,—просто, въ обморокѣ.

— А можетъ быть, и правда?—сказалъ Леша.

И страхъ слышался въ его хриплом҃ъ голосѣ.

— Не можетъ быть,—спорила Надя,—мертвый упалъ бы.

— Да некуда,—отвѣчалъ Леша.

Надя замолчала. Опять икота начала мучить ее.

Сѣдая, косматая старуха, махая надъ головою руками, словно плывя, вылѣзла изъ толпы прямо на Удоевыхъ.

Воня неостиво, она протолкалась мимо нихъ, и было такъ тѣсно и тяжело, что казалось, что она проходитъ насквозь, какъ гвоздь.

Ея неистовый вопль, ея мучительное появленіе въ блѣдно мутной предразсвѣтной мглѣ, были, какъ призракъ тяжелаго сна. И съ этого времени уже все въ сознаніи задыхающихся дѣтей было истомою и бредомъ.

XII.

Наконецъ, послѣ ночи томительной и страшной, стало быстро свѣтать.

Быстрая, радостная, дѣтски веселая, запылала, засмѣялась смѣхами розовыхъ тучекъ заря. Золотыя въ мглистой дали вспыхнули блестки. И пока еще земля была темна и сурова, уже небо все полыхало радостью, всемірною радостью вѣчнаго торжества. И люди,—что же люди! все еще только люди!..

Между темною, такою грѣшною, такою обремененною землею и озареннымъ, вновь блаженнымъ небомъ простерся густой паръ отъ дыханій великаго множества людей.

Ночная прохлада, свиваясь въ золотые небесные сны, сгорала въ легкихъ тучахъ, въ заревыхъ лучахъ.

А толпа, такъ странно, такъ неожиданно озаренная сверху безмятежнымъ заревымъ смѣхомъ,—эта громадная земная толпа насквозь пронизана была злобою и страхомъ.

Тяжко двигалась, стремясь впередъ,—и вновь приходящіе изъ города тупо и злобно тѣснили стоявшихъ впереди впередъ, къ сараямъ съ подарками.

Подъ вѣчнымъ золотомъ зари тусклое олово бѣдныхъ кружекъ влекло людей въ смятеніе и тѣсноту.

Въ истомѣ и бреду тяжкія, медленныя мысли тѣснились въ сознаніе дѣтей, въ темное сознаніе задыхающихся, и каждая мысль была страхомъ и тоскою. Жестокая надвигалась погибель. Своя погибель. Погибель милыхъ. И чья больнѣе?

Словно просыпаясь порою, принимались кричать, и жаловаться, и просить.

Хриплые голоса ихъ слабо взлетали,—раненою птицею съ поломаннымъ крыломъ,—и жалко падали и тонули въ глухомъ гулѣ тупой толпы.

Тускло-суровые взоры угрюмыхъ людей были имъ отвѣтомъ.

Тоска тѣснила дыханіе, нашептывала злыя, безнадежныя слова.

И уже не было надежды уйти. Люди были злы. И злы и слабы. Не могли спасти, не могли спастись.

Мольбы слышались повсюду, вопли, стоны,—напрасныя мольбы.

И кого можно было умолить здѣсь, въ этой толпѣ?

Уже какъ будто не люди,—казалось задыхающимся дѣтямъ, что свирѣпые демоны угрюмо смотрятъ и беззвучно хохочутъ изъ-за людскихъ сползающихъ, истлѣвающихъ, личинъ.

И дьявольскій мучительно длился маскарадъ. И казалось,—не будетъ ему конца,—не будетъ конца кипѣнію этого сатанинскаго котла.

XIII.

Стремительно встало солнце, радостно возбужденный, злой Драконъ. Пахнуло жаркимъ дыханіемъ Змія

Сжигая послѣднія струи прохлады, возносился злой Драконъ.

Толпа всколыхнулась.

Гулъ голосовъ пронесся надъ толпою.

Такъ отчетливо все стало кругомъ. Какъ будто, сдернутыя невидимою рукою, упали ветхія личины.

Демонская злоба кипѣла окрестъ, въ истомѣ и бреду.

Свирѣпыя сатанинскія хари видиѣлись повсюду. Темные рты на тусклыхъ лицахъ изрыгали грубыя слова.

Леша застоналъ.

Рыжій чортъ, сверкая сухими глазами, зарычалъ на него:

— Попалъ сюда, такъ и терпи. Мы тебя не звали. Помнись, сволочь сахарная. Начисто кишки выдавимъ.

Ярый Змій ярилъ людей.

Казалось, что солнце поднялось стремительно, и уже вдругъ стало высокое и безпощадное.

И стало такъ жарко, и душно, и такая жажда томила всѣхъ.

Кто-то рыдалъ.

Кто-то молилъ жалобно:

— Хоть бы водиночку съ неба!

Катя икала.

Иногда показывались чьи-то странно и страшно-знакомыя лица. Какъ всѣ лица въ этой озвѣрѣлой толпѣ, и они застыли въ своемъ ужасномъ преображеніи.

На нихъ было еще страшнѣе смотрѣть, чѣмъ на незнакомыхъ, потому что озвѣреніе знакомаго лица чувствовалось еще больнѣе.

Леша почувствовалъ, что кто-то давитъ на его

плечи. Такъ тяжко вдавливалъ въ землю. Въ темную, жестокую землю.

Кто-то старался взлѣзть.

Было нѣсколько остро-мучительныхъ минутъ. Потомъ на краткій мигъ облегченіе. Потомъ взлѣзшій наверхъ наступилъ сапогомъ на Лешину голову. Леша услышалъ тихій Надинъ вскрикъ.

Кто-то темный и грузный пошелъ поверху въ сторону, по плечамъ и головамъ, и странно колебался въ воздухѣ.

Леша поднялъ голову, вздохнуть воздухомъ высокаго простора. Но было жарко въ высотѣ.

Небо сіяло ясное, торжественное, недостижимо-высокое, нѣжно усѣянное перламутрами перистыхъ облаковъ на западной половинѣ.

Море торжественнаго свѣта изливалось отъ только что поднявшагося солнца. И солнце было новое, яркое, величественное и свирѣпо-равнодушное. Равнодушное навсегда. И все его великолѣпіе сверкало надъ гуломъ томленія и бреда.

Кто-то тяжело топтался на Лешиныхъ ногахъ.

Катя икала тяжело и мучительно.

— Да перестань!—хрипло крикнулъ Леша.

Катя захохотала. Смѣхъ съ икотою былъ страненъ и жалокъ.

И уже надъ всею ширинею поля носился тяжелый, непрерывный гулъ криковъ, стоновъ, визговъ.

И тогда настали минуты взаимной безсмысленной злобы.

Люди били другъ друга, сколько позволяла тѣснота. Пинали другъ друга ногами. Кусались. Хватали другъ друга за горло, душили.

Болѣе слабыхъ затискивали на землю, и становились на нихъ.

Крики и стоны, мольбы и проклятія, все, что слышалъ Леша, онъ повторялъ безжизненнымъ, задушеннымъ голосомъ, и какъ еще двѣ куклы, за нимъ лепетали то же обѣ сестры.

XIV.

Мольбы и стоны вдругъ стали тихи и дремотны.

Настали краткіе и странные полчаса затишья, томленія, усталости безъ конца, тихаго, жуткаго бреда.

Гулъ бреда носился надъ толпою, тихій гулъ, такой придавленный, такой жуткій.

И уже бредъ былъ разлитъ во всемъ, и у всѣхъ трехъ сквозь дымъ бреда едва теплилось страшное сознаніе гибели.

Обѣ сестры тяжело икали.

— Анделочекъ Божій!—взвизгнулъ кто-то близко.

Утренняя дремота полузадавленныхъ въ толпѣ людей прерывалась изрѣдка дикими воплями отчаянія.

И опять становилось тихо, и жуткій гулъ носился надъ толпою, не подымаясь въ ликующіе просторы, къ неподвижному злому Змію высотъ.

Кто-то икалъ мучительно. Казалось, что это мучительно умираетъ кто-то.

Леша вслушался, и понялъ, что это икаетъ Надя.

Леша съ усиліемъ повернулъ къ ней голову.

Надины посинѣлыя губы открывались и закрывались страннымъ, механическимъ движеніемъ. Глаза

не глядѣли, и лицо приняло тусклый, мертвенный оттѣнокъ.

XV.

Промчался томный срокъ затишья. И вдругъ буря нелѣпыхъ гуловъ и воплей завыла надъ смятенною толпою. Дикія восклицанія бичевали воздухъ.

По искаженнымъ злобою лицамъ видно было, что здѣсь уже не было людей. Дьяволы сорвали свои мгновенныя маски, и мучительно ликовали.

Нѣсколько человѣкъ въ толпѣ въ эти минуты вдругъ сошли съ ума. Они выли, и ревѣли, и кричали что-то нелѣпое и ужасное.

Изъ-подъ ногъ людей часто вырывались предсмертные дикіе вопли,—тамъ, на землѣ, повергнутые, сбитые съ ногъ уже не могли подняться.

И эти вопли потрясали души немногихъ, еще оставшихся людьми въ страшной толпѣ человѣкообразныхъ дьяволовъ.

Стояли рядомъ оборванный хулиганъ и его подруга, развратная и пьяная. Они смотрѣли другъ на друга, и говорили злобныя слова. Хулиганъ странно двигалъ плечомъ.

Усиліемъ бѣшеной злобы освободилъ руку. Въ рукѣ сверкнулъ ножъ. Въ яркихъ лучахъ солнца такимъ острымъ смѣхомъ задрожала быстрая сталь.

Ножъ вонзился въ тѣло блудницы. Завизжала:

— Проклятый!

Захлебнулась своимъ визгомъ. Умерла.

Хулиганъ завопилъ. Нагнулся къ ней. Грызъ ея красную, толстую щеку.

— Насъ задавили совсѣмъ, мы сейчасъ умремъ,— хриплымъ голосомъ сказала Катя.

Леша угломъ глаза глянулъ на нее, какъ-то безсмысленно засмѣялся, и сказалъ громко и отчетливо:

— Надю задавили. Она холодная.

И крупныя по его лицу катились слезы, а блѣдныя губы безсмысленно улыбались.

Катя молчала. Лицо ея стало синѣть, и глаза потухали.

Леша задыхался.

Его ноги ступили на что-то мягкое. Рѣзкая вонь подымалась съ земли. Что-то, тяжело хрипя, ворочалось внизу.

— Воняетъ!—говорилъ сзади Леши странно равнодушный голосъ.—Бабу свалили, животъ ей выдавили.

Посинѣлое Катино лицо странно, безжизненно поникло.

Лешѣ стало вдругъ холодно.

XVI.

Шесть часовъ,—сказалъ кто-то.

По голосу было слышно, что говоритъ дюжій, спокойный человѣкъ, которому не страшно въ толпѣ.

— Четыре часа еще ждать,—отвѣтилъ ему робкій, задыхающійся шопотъ

— Чего ждать?—злобно рявкнулъ кто-то гулкимъ голосомъ.

— Помремъ всѣ начисто,—спокойно и тихо отвѣтилъ женскій глубокій голосъ.

Кто-то отчаянно завопилъ срывающимся полудѣтскимъ крикомъ:

— Братцы, да неужто намъ еще эстолько времени давиться!

Взбудораженный гулъ метнулся по полю, какъ шумная стая пугливыхъ, чернокрылыхъ птицъ. Метнулся, завылъ, колыхнулъ. И навстрѣчу ему метнулась толпа.

— Пора, братцы!—оралъ чей-то визгливый голосъ.— Не зѣвай, черти лѣшіе все себѣ заберутъ.

— Иди, иди!—гудѣло кругомъ.

Стремительно и тяжко двигалась уже вся толпа.

А на Лешу недвижныя смотрѣли склоненныя лица сестеръ, холодныхъ и тяжелыхъ на его плечахъ.

Разбившіеся волосы милыхъ щекотали Лешины блѣдныя щеки.

Ноги не переступали. Толпа несла всѣхъ трехъ и Лешу, и сестеръ.

— Раздаютъ!—закричалъ кто-то.

Видно было, и казалось, недалеко, какъ летѣли въ воздухѣ какіе-то пестрые узелки.

— На шарапъ!—угрюмо хрипѣлъ измученный, тощій мужикъ.

— Чего стали, идите!—неистово кричали задніе переднимъ.

— Нашихъ не пускаютъ, анаѳемы впередъ лѣзутъ, а мы стой, годи,—свирѣпо оралъ кто-то.

И со всѣхъ сторонъ неслись бѣшеные крики:

— Братцы, вали напроломъ!

— Да что на него, лѣшаго, смотрѣть,—за горло его хватай, да подъ ноги!

— Вали впередъ, чего смотрѣть!

— Не даютъ, сами возьмемъ.

— О-ой, раздавили!

— Батюшки, кишки вонъ лѣзутъ.

— Подавись своими книжками, сволочь треклятая.

— Рѣжь ее, стерву астраханскую.

— Давай, не задерживай!—ревѣлъ впереди свирѣпый голосъ.

XVII.

Вездѣ вокругъ свирѣпыя грозили, отчаянныя лица.

Тяжелый потокъ. И все та же злоба...

Ножъ разрѣзалъ платье. И тѣло.

Завыла. Умерла.

Такъ страшно.

Безжизненно смотрятъ на него странно посинѣлыя лица милыхъ...

Кто-то хохочетъ. О чемъ?..

Близокъ конецъ. Вотъ уже стѣны сараевъ...

Въ поднятой высоко рукѣ дюжаго парня тускло свѣтилась въ золотомъ солнечномъ свѣтѣ кружка. И рука была странно и ненатурально воздвигнута къ небу, какъ живой шестъ.

Кто-то метнулся вверхъ головой. Выбилъ кружку,— такъ слабо держала ее посинѣлая отъ натуги рука.

Кружка падала медленно, грузно, описывая дугу. Скользнула по чьей-то спинѣ.

Дюжій парень скверно выругался.

Онъ былъ красный, потный, и бѣлки его глазъ, вытаращенныхъ отъ натуги, казались крупными.

Нагнулся за кружкой съ большимъ усиліемъ. Видно было, какъ двигаются его локти.

Вдругъ онъ поникъ, глухо крикнулъ.

Кто-то повалился на его нагнутую спину. Повалился и закричалъ. Барахтаясь, поползъ впередъ по спинѣ упавшаго. Еще кто-то сзади навалился на обоихъ живо-

томъ. Всѣ трое осѣли. Послышались глухіе вопли. Верхній поднялся, и казался очень высокимъ. Толпа слилась надъ поверженными, и по ея грузному осѣданію можно было замѣтить, какъ приникали къ землѣ двое задавленныхъ.

Дюжій мужикъ съ покраснѣвшимъ до багровой синевы лицомъ, двигая локтями и плечами, высвободилъ правую руку, и протянулъ ее впередъ. Его сдавили. Рука странно моталась на чужомъ плечѣ, красная возлѣ краснаго платка.

Баба въ красномъ платкѣ повернулась, вцѣпилась зубами въ руку дюжаго мужика. Непонятна была ея злость.

Свирѣпо воня, мужикъ вырвалъ руку. Отчаянно заработалъ локтями. Казалось, что онъ растетъ.

Его выперли вверхъ. Упалъ на чьи-то головы, и злобные подъ нимъ загудѣли голоса. Всталъ колѣнями на чьи-то плечи. Опять упалъ.

Падая, вставая, опять падая, становясь на четвереньки, онъ пробирался впередъ, и толпа была подъ нимъ сплошною, неровною мостовою, тяжко движущимся глетчеромъ.

И уже многіе выталкивались локтями вверхъ.

Видно было нѣсколько человѣкъ, неловко бѣгущихъ по плечамъ и головамъ къ крышамъ буфетовъ.

И уже многіе взбирались на крыши.

XVIII.

Двѣ бабы сцѣпились. Молча, угрюмо. Одна залѣзла пальцами въ ротъ другой, и рвала ей ротъ. Видна была кровь. Послышался отчаянный визгъ.

Рѣзались ножами, чтобы проложить дорогу, и убитыхъ толкали подъ ноги. Иногда убійца падалъ на убитаго, и оба никли подъ ногами множества свирѣпыхъ дьяволовъ.

Многіе упали въ оврагъ. На нихъ валились другіе. Въ короткое время оврагъ былъ заваленъ тяжко вопящими, мучительно умирающими людьми. И дьяволы топтали ихъ ногами, обутыми въ тяжелые сапоги.

Рыжій парень передъ Лешею давно уже лѣзъ вверхъ, отчаянно работая локтями, напирая на плечи сосѣдей. Онъ кричалъ что-то невнятное, и хрипло хохоталъ.

Сначала непонятно было, чего онъ хочетъ, и что съ нимъ дѣлается. Вдругъ онъ началъ быстро подниматься, и на короткое время закрылъ передъ Лешиными глазами все, что было впереди.

Нелѣпые крики его падали въ тупую толпу сверху острыми, свистящими бичами, и странно было слушать нисходящій, казалось, съ неба гнусный голосъ. И тогда слова его стали ясными.

И слова его были—кощунство и хула, и скверная брань.

Потомъ онъ вдругъ обрушился куда-то, и ударилъ каблукомъ Лешу въ лобъ.

Но сейчасъ же началъ подниматься. Сталъ на четвереньки. Вцѣпился въ русую косу полузадавленной дѣвушки. Всталъ на чьи-то плечи.

Онъ былъ красный, рыжій, хохоталъ, неровно шелъ впередъ, по плечамъ и головамъ ступая безъ разбора тяжелыми сапогами.

Похожій на дьявола, медленно шелъ онъ надъ сжатою, тяжко ревущею толпою, и скрывался вдали.

И опять казалось Лешѣ, сквозь странное томленіе,

и тошноту, и багровый туманъ въ глазахъ, что кто-то громадный, головою до неба,—и еще выше,—человѣкъ или дьяволъ, или человѣкъ-дьяволъ, идетъ по головамъ умирающихъ въ задыхающейся толпѣ людей и вержетъ на нихъ странныя богохульства.

Толпа впереди продавливалась въ узкіе проходы между деревянными шалашами. Оттуда слышались вопли, визги, стоны. Мелькали шапки и клочки одежды, почему-то взлетавшіе наверхъ.

Чья-то русая голова нѣсколько разъ стукнулась объ острый уголъ балагана, поникла, пронеслась порывомъ впередъ, и вдругъ исчезла.

Казалось, что между балаганами тѣснятся все болѣе и болѣе высокіе люди. Странно было видѣть головы наровнѣ съ крышею балагана. Шли по тѣламъ поверженныхъ.

Изъ-за балагановъ доносился торжествующій ревъ побѣдителей. Мелькали какіе-то пестрые лохмотья,—что-то перекидывалось по воздуху.

И вотъ Лешу и сестеръ втолкали въ одинъ изъ проходовъ между балаганами

Здѣсь было нестерпимо тѣсно,—Лешѣ казалось, что всѣ его кости сломаны. И странно отяготѣли на его плечахъ изломанныя тѣла сестеръ.

Но кончился узкій проходъ.

За балаганомъ стало просторно, свѣтло, радостно.

— Сейчасъ умру,—подумалъ Леша, и счастливо засмѣялся.

На мгновеніе Леша увидѣлъ чье-то красное, радостное лицо, и человѣка, потрясавшаго узелкомъ надъ головою.

И упалъ.

Обѣ сестры свалились на него. На половину прикрыли его своими измятыми тѣлами.

Леша еще слышалъ, какъ по немъ бѣжали, дробно переступая по спинѣ. Тяжко во всемъ тѣлѣ отдавались свирѣпые удары дьявольскихъ ногъ.

Чей-то каблукъ ступилъ на затылокъ.

Мгновенное было ощущеніе тошноты.

Смерть.

МУДРЫЯ ДѢВЫ.

Въ украшенномъ цвѣтами и свѣтлыми тканями покоѣ Дѣвы ждали Жениха. Ихъ было десять, онѣ были юны и прекрасны, и были среди нихъ Мудрыя дѣвы, и были Неразумныя.

Вечеръ отгорѣлъ и погасъ, какъ погасаетъ въ небѣ каждый вечеръ. Дыханіе темно-синяго холода простерлось надъ землею, и далекія, вѣчныя звѣзды начали свой медленный хороводъ. Дѣвы приготовили все, что надо было для брачнаго пира, и сѣли за столъ. Одно мѣсто среди нихъ было пусто,—то было мѣсто для Жениха, котораго ждали, но котораго еще не было здѣсь.

Десять свѣтильниковъ горѣли передъ Дѣвами. На бѣлой скатерти стола стояли сосуды съ виномъ и хлѣбы.

Тихи были голоса бесѣдующихъ Дѣвъ. Черная ночь молчала въ саду за окнами украшеннаго брачнаго чертога,—а издали доносились откуда-то веселыя пѣсни, смѣхъ, музыка, шумныя восклицанія. Тамъ, недалеко отъ дома, гдѣ ждали Дѣвы Жениха, веселились и пировали Дѣвушки, юныя Женщины и праздные Молодые люди, — и всѣмъ имъ не было никакого дѣла ни до Жениха, приходящаго во тьмѣ и тайнѣ, ни до Не-

вѣсты, таинственно зажигающей высокій свой свѣточъ. Они, безпечные, плясали, и пѣли, и смѣялись, и славили сладостныя очарованія буйной жизни. Въ ихъ пѣсняхъ говорилось о томъ, что жизнь дается каждому только одинъ разъ, что юность пролетаетъ быстро, и что надо торопиться вкусить ея восторги и услады, пока еще кровь горитъ избыткомъ стремительныхъ силъ.

Тихо бесѣдовали Дѣвы:

— Теперь уже скоро придетъ Женихъ.

— Да, мы скоро дождемся его.

— Какъ они тамъ шумятъ!

— Какъ безумны ихъ пѣсни!

— Какъ грубо звучитъ въ ночной тишинѣ ихъ хохотъ!

— Жениху будетъ непріятенъ этотъ шумъ.

— Женихъ добрый,—онъ не осудитъ.

— Онъ уже скоро придетъ.

— Не онъ ли это вошелъ въ садъ?

— Не онъ ли стоитъ у порога?

— Не онъ ли заглянулъ къ намъ въ окно?

— Не пойти ли намъ къ нему навстрѣчу?

— Нѣтъ, въ саду пусто и тихо.

— У дверей нѣтъ никого.

— Только черная ночь смотритъ къ намъ въ окна.

Длилась ночь. Ждали Дѣвы. Бесѣдовали тихо. Все громче и веселѣе становились голоса пирующихъ. Женихъ не приходилъ.

— Его все еще нѣтъ, — говорили опечаленныя Дѣвы.

— Онъ придетъ въ полночь, — говорили онѣ, утѣшая сами себя.

— Будемъ ждать.

— Какъ долго!

— Какъ скучно!

— Не надо роптать на Жениха.

— Онъ придетъ.

— Надо ждать,—онъ утѣшитъ насъ.

— Какъ долго ждать! Уже и полночь прошла.

Стали роптать Неразумныя дѣвы. Онѣ говорили:

— Мы здѣсь сидимъ и ждемъ, а онъ забылъ о насъ.

— Можетъ быть, и не придетъ.

— Можетъ быть, онъ пируетъ съ другими.

— Зачѣмъ же мы ждемъ его, глупыя?

— Какъ весело тамъ!

— Не смѣшно ли, что мы сидимъ здѣсь, за накрытымъ столомъ, а сами не пьемъ, не ѣдимъ, и не радуемся, и ждемъ Жениха, который не приходитъ, хотя уже прошли назначенные сроки!

— Не пойти ли намъ туда, гдѣ такъ весело?

— Подождите, — говорили Мудрыя дѣвы. — Женихъ придетъ.

— Онъ стукнетъ въ дверь, станетъ на порогѣ, посмотритъ на насъ благостными очами, — и тогда начнется у насъ веселье, болѣе свѣтлое и радостное, чѣмъ то, которому вы завидуете.

Но уже не захотѣли Неразумныя дѣвы ждать дальше. Онѣ говорили:

— Мы пойдемъ туда, гдѣ весело. Идите и вы съ нами. Если Женихъ не пришелъ во-время, то онъ можетъ сходить за нами и туда, гдѣ мы будемъ. Можно оставить ему на столѣ записку.

И взяли Неразумныя дѣвы свои свѣтильники, и ушли, — шесть Неразумныхъ дѣвъ. Остались четыре

Мудрыя дѣвы. Онѣ сѣли близко одна къ другой, и тихо бесѣдовали о Женихѣ и о тайнѣ, и ждали.

Но Женихъ не пришелъ. Тишина и печаль томились и вздыхали въ украшенномъ брачномъ покоѣ, гдѣ Мудрыя дѣвы проливали тихія слезы, сидя за столомъ, передъ догорающими свѣтильниками, передъ нетронутымъ виномъ и неначатымъ хлѣбомъ. Дремотныя смежались порою очи, и грезился Мудрымъ дѣвамъ Женихъ, стоящій на порогѣ. Радостныя, вставали онѣ со своихъ мѣстъ, и простирали руки,—но не было Жениха съ ними, и никто не стоялъ на порогѣ.

Догорѣли свѣтильники, побѣлѣли окна, птичьими щебетаніями засмѣялся утренній садъ,—и поняли Мудрыя дѣвы, что Женихъ не придетъ. Онѣ склонились надъ столомъ, и плакали долго. Чѣмъ ярче пылала заря, тѣмъ блѣднѣе становились ихъ щеки.

Тогда сказала мудрѣйшая изъ Дѣвъ:

— Сестры, сестры! вотъ уйдемъ мы домой, и потомъ станемъ вспоминать эту ночь. И что же мы вспомнимъ? Мы ждали долго,—и Женихъ не пришелъ. Но, сестры, и Неразумныя дѣвы, если бы онѣ были съ нами въ эту ночь, не то ли же самое сохранили бы воспоминаніе? На что же намъ мудрость наша? Неужели мудрость наша надъ моремъ случайнаго биванія не можетъ воздвигнуть свѣтлаго міра, созданнаго дерзающею волею нашею? Жениха нѣтъ нынѣ съ нами,—потому ли, что онъ не приходилъ къ намъ, потому ли, что, побывъ съ нами довольно, онъ ушелъ отъ насъ?

Радостны стали Мудрыя дѣвы, и перестали плакать. Онѣ налили вино въ свои чаши, и разломили хлѣбъ, и ѣли, и пили, и веселились. И говорили онѣ:

— Женихъ ушелъ отъ насъ рано.

— Краткое время побылъ съ нами Женихъ, — но сердца наши утѣшены и краткимъ его пребываніемъ съ нами.

— Женихъ ушелъ, но онъ—нашъ возлюбленный Женихъ.

— Онъ любитъ насъ.

— Онъ оставилъ намъ золотые вѣнцы на головахъ нашихъ.

Окончивъ свою радостную трапезу, встали Мудрыя дѣвы изъ-за стола. На порогѣ брачнаго чертога остановились онѣ всѣ четыре, обнимая одна другую, и простерли съ прощальнымъ привѣтомъ свои руки вслѣдъ уходящему Жениху. Глаза ихъ были полны слезъ, и лица ихъ были блѣдны, и губы ихъ улыбались печально.

Въ это время окончился шумный пиръ, и шесть Неразумныхъ дѣвъ возвращались домой. Остановясь у порога, гдѣ стояли Мудрыя дѣвы, Неразумныя смѣялись, дразнили Мудрыхъ, и спрашивали:

— Дождались Жениха?

— Веселъ былъ вашъ пиръ съ Женихомъ?

— Что же вы теперь однѣ, и Жениха не видно съ вами?

Мудрыя дѣвы отвѣтили имъ кротко:

— Женихъ ушелъ.

— Мы его провожали.

— Вотъ уже бѣлый хитонъ его мелькнулъ въ послѣдній разъ изъ-за деревьевъ, и не виденъ больше.

— Въ ту сторону, гдѣ восходитъ солнце, ушелъ Женихъ.

Не вѣрили имъ Неразумные дѣвы, громко смѣялись, и говорили:

— Вамъ стыдно сознаться, что Женихъ не пришелъ къ вамъ.

— Чѣмъ вы докажете, что онъ былъ съ вами?

— Покажите намъ его подарки.

Мудрыя дѣвы отвѣчали:

— Онъ подарилъ намъ золотые вѣнцы.

— Онъ самъ надѣлъ ихъ на наши головы.

— Развѣ вы не видите, какъ сіяетъ золото нашихъ вѣнцовъ надъ нашими головами?

Неразумныя дѣвы,—пять изъ нихъ,—смѣялись и говорили:

— Никакихъ нѣтъ вѣнцовъ на вашихъ головахъ.

— Вы сами себя уличаете вашею выдумкою.

— Должно быть, во снѣ видѣли вы, какъ приходилъ къ вамъ Женихъ.

— Напрасно вы проскучали всю долгую ночь,—итти бы вамъ лучше было за нами.

И ушли отъ порога пять Неразумныхъ дѣвъ, издѣваясь надъ Мудрыми дѣвами и всячески понося ихъ. Одна же изъ нихъ осталась у порога. Она упала къ ногамъ Мудрыхъ дѣвъ, покрытымъ холодною утреннею росою, и цѣловала ноги Мудрыхъ дѣвъ, и плакала горько, и говорила:

— Счастливыя, счастливыя Мудрыя дѣвы! Какъ завиденъ вашъ высокій удѣлъ! Съ вами пировалъ Женихъ, котораго не увидѣли мои очи и очи моихъ безумныхъ подругъ. На ваши мудрыя головы онъ своими руками надѣлъ золотые вѣнцы, свѣтло сіяющіе, какъ четыре великія солнца. На вашихъ рукахъ—святыня его прикосновеній, на вашихъ губахъ благоуханіе его поцѣлуевъ. О я, Неразумная! О я, несчастная! Умереть

бы мнѣ у вашихъ ногъ, лобзая ступени, по которымъ къ вамъ восходилъ Женихъ!

Мудрыя дѣвы подняли свою прозрѣвшую въ этотъ ранній часъ сестру, и цѣловали ее, и утѣшали нѣжно. Онѣ говорили ей:

— Милая сестра, ты увидѣла на головахъ нашихъ вѣнцы, которыхъ не могли увидѣть Неразумныя дѣвы.

— Мудростью и вѣдѣніемъ тайны надѣлилъ тебя Женихъ.

— Вѣнецъ, который былъ на головѣ Жениха, онъ оставилъ намъ для той, которая придетъ отъ неразумія къ мудрости.

Коснулись Мудрыя дѣвы нѣжными пальцами ея головы, и сняли съ нея поблекшіе цвѣты буйнаго веселья. Говорили:

— Вотъ мы надѣли на тебя, милая сестра, золотой вѣнецъ.

— Какъ ярко сверкаетъ твой вѣнецъ въ лучахъ восходящаго солнца!

— Возлюбленный Женихъ, подарившій тебѣ этотъ блистающій вѣнецъ, и самъ придетъ къ тебѣ, когда настанетъ время.

Одна за другою, по высокой лѣстницѣ брачнаго чертога и по дорогамъ сада, ступая на тѣ мѣста, которыхъ касались ноги Жениха, шли пять Мудрыхъ дѣвъ, увѣнчанныя золотыми вѣнцами, сіяющими, какъ великія свѣтила. Съ глазами, полными слезъ, и съ сердцами, объятыми пламенемъ печали и восторга, шли онѣ возвѣстить міру мудрость и тайну.

ОЧАРОВАНІЕ ПЕЧАЛИ.

Сентиментальная новелла.

Сначала все совсѣмъ такъ же, какъ и въ старой сказкѣ.

Молодая, прекрасная, кроткая королева скончалась. Оставила дочь, столь же прекрасную. Король Теобальдъ черезъ нѣсколько лѣтъ взялъ новую жену, красивую, но злую. Себѣ—красивую жену. Дочери—злую мачеху.

Новая королева, красавица Маріана, притворялась, что любитъ свою падчерицу, прекрасную королевну Аріану. Она обращалась съ нею ласково и кротко, тая въ зломъ сердцѣ кипучую злобу. Злоба ея распалялась тѣмъ, что королевна Аріана была такъ прекрасна, какъ бываютъ прекрасны юныя дѣвушки только въ сказкахъ и въ глазахъ влюбленныхъ и соперницъ.

Выросла королевна Аріана, и далеко разнеслась молва и слава о дивной ея красотѣ, и пріѣзжали къ ней свататься многіе королевичи и принцы, влюбленные въ нее по разсказамъ путешественниковъ и поэтовъ, и по ея портретамъ, и, посмотрѣвъ на нее, влюблялись еще больше. Но ни одному изъ нихъ не отдала прекрасная Аріана своей любви, ни на кого не смотрѣла съ выраженіемъ большей благосклонности, чѣмъ та, которая подобала каждому высокому гостю по его

достоинству и по завѣтамъ гостепріимства. И распалялась злоба злой мачехи.

Многіе рыцари и поэты той страны, и многихъ иныхъ странъ, и даже пришедшіе издалека, привлеченные шумною молвою и славою о прелестяхъ королевны Аріаны, томились и вздыхали о ней, и мечтали, безнадежно влюбленные, слагали ей пѣсни, и носили ея цвѣта, черный и алый, и шептали ей робкія признанія,— но никого изъ нихъ не полюбила прекрасная Аріана, и на всѣхъ равно благосклонно смотрѣли ея отуманенные печалью глаза. И разгоралась лютая злоба злой мачехи, и рѣшила Маріана погубить свою падчерицу.

Все совсѣмъ такъ, какъ и въ сказкѣ.

Говорила Маріана вѣрной служанкѣ Бертрадѣ, оставшись съ нею наединѣ въ своемъ покоѣ:

— Я—прекрасна, но Аріана—прекраснѣе меня, и не понимаю, почему. Щеки мои румяны, какъ и у нея; черные глаза мои блистають, какъ и у нея; губы мои алы, и улыбаются такъ же нѣжно, какъ и у нея; всѣ черты моего лица такъ же хороши, какъ и у нея, и даже красивѣе; и волосы мои черны и густы, какъ и у нея, и даже немного длиннѣе и гуще. Я высока и стройна, какъ и Аріана; у меня такая же высокая грудь, какъ и у нея, и тѣло мое такъ же бѣло, и кожа моя такъ же нѣжна, какъ у Аріаны, и даже нѣжнѣе и бѣлѣе, потому что я не хожу къ бѣднымъ подъ жгучими лучами солнца, и подъ дождемъ, и подъ вьюгою, и не отдаю своего плаща встрѣчному старому нищему, и своихъ башмаковъ бѣдному оборванному ребенку, и не улыбаюсь въ грязныхъ избахъ, и не плачу о нищихъ дома, какъ Аріана. И она все-таки прекраснѣе меня.

— Ты прекраснѣе королевны Аріаны, милостивая госпожа,—сказала коварная, хитрая Бертрада,—только глупые юноши и поэты восхищены добротою королевны, и умильно-печальную улыбку ея принимають за очаровательное явленіе красоты. Но развѣ поэты и юноши понимають что-нибудь въ красотѣ!

Но не повѣрила Маріана, и тосковала, и плакала И говорила:

— Извела бы ее, ненавистную. Но какое мнѣ въ томъ утѣшеніе? Память о красотѣ ея пережила бы ее, и люди говорили бы, что вотъ прекрасна королева Маріана, но покойная королевна Аріана была прекраснѣе ея. И во много разъ увеличила бы несправедливая молва людская прелести ненавистной дѣвчонки.

Тогда Бертрада, склоняясь къ госпожѣ своей, сказала ей тихо:

— Есть мудрые и вѣщіе люди, которые знають многое. Можетъ быть, найдутся чародѣи или чародѣйки, которые сумѣють перевести красоту королевны Аріаны на тебя, милая госпожа.

Такъ говоря, Бертрада думала о матери своей, старой вѣдьмѣ Хильдѣ, которая жила уединенно, чтобы никто при дворѣ короля не зналъ, что мать Бертрады — колдунья.

Со злою надеждою посмотрѣла королева на Бертраду, и спросила:

— Не знаешь ли ты такихъ?

— Поищу, милая госпожа,—отвѣтила лукавая служанка,—я такъ вѣрна тебѣ, что для тебя готова и въ адъ спуститься, и заложить душу свою тому, кто зарится на этотъ цѣнный товаръ.

Злая королева дала Бертрадѣ денегъ и многіе по-

дарки, — злое сердце вѣрило другому, столь же злому и коварному сердцу.

Прекрасная королева Маріана вышла въ садъ высокаго королевскаго замка. Замокъ стоялъ за городомъ, на краю плоской горы, и далеко простиравшаяся внизу долина представляла взорамъ королевы очаровательный видъ. На минуту невольно залюбовалась Маріана туманно синѣющими далями полей, замкнутыхъ далекою оградою лѣса, — и мирнымъ теченіемъ рѣки, плавно уносящей на своихъ волнахъ и богато изукрашенныя галеры, и утлые челноки, — и кудрявыми дымами деревень, такихъ красивыхъ отсюда, сверху, гдѣ не видна грязь неряшливыхъ, смрадныхъ улицъ.

Но вдругъ вспомнила королева, что Аріана стоитъ на башнѣ, высоко надъ садомъ, дворцомъ и надъ нею, гордою Маріаною, стоитъ, подставляя прекрасное, печальное лицо лобзаніямъ вольнаго вѣтра и золотого солнца, и смотритъ на безмѣрныя дали, съ которыхъ вѣетъ на нее печаль полей и деревень, — стоитъ, и смотритъ, и плачетъ, можетъ быть. И потемнѣли королевины прекрасныя очи, и завистливою злобою исказилось ея лицо.

Вотъ увидѣла королева влюбленнаго въ Аріану принца Альберта, одного изъ самыхъ упорныхъ искателей руки и любви молодой королевны. Третій разъ возвращался Альбертъ ко двору короля Теобальда, и каждый разъ жилъ все дольше и дольше. Но не склонялась на его мольбы прекрасная Аріана. Теперь принцъ Альбертъ стоялъ въ тѣни дуба, выросшаго надъ краемъ мрачнаго обрыва, и смотрѣлъ не отрываясь вверхъ.

Королева подняла глаза по направленію его взора, и увидѣла Аріану.

На высокой башнѣ, опершись рукою о ея сложенный изъ громадныхъ камней парапетъ, стояла Аріана, и смотрѣла вдаль, вся облитая горячимъ свѣтомъ пламенѣющаго въ небѣ свѣтила. Вѣтеръ взвѣивалъ легкое покрывало на плечахъ королевны, и печальны были устремленные вдаль взоры.

Королева Маріана стояла, и насмѣшливо смотрѣла то на Аріану, то на Альберта. Наконецъ влюбленный принцъ замѣтилъ присутствіе королевы. Онъ прервалъ милое ему созерцаніе весьма неохотно, но ничто въ его наружности и обращеніи не выдало того, какъ неріятно было ему отвести глаза отъ милаго образа, какъ тягостно было ему заговорить и нарушить этимъ полное восторговъ и очарованій молчаніе внизу, въ зеленѣющемъ саду, такъ сближавшее его съ молчаніемъ и печалью тамъ, на высотѣ надменной башни, гдѣ стояла Аріана.

— Какъ настойчивы и неутомимы влюбленные!— говорила королева, когда принцъ Альбертъ, склоняясь передъ нею, цѣловалъ ея руку.—Милый Альбертъ, вы готовы стоять цѣлыми днями, любуясь на прекраснѣйшую изъ земныхъ дѣвъ.

— Прекраснѣйшую послѣ васъ, милая Маріана, — отвѣчалъ Альбертъ.

Льстилъ ей, чтобы снискать ея расположеніе. Такъ всегда нѣжна была, повидимому, королева со своею падчерицею, — и казалось влюбленному принцу, что счастіе молодой королевны заботитъ сердце мачехи. Льстилъ ей, чтобы замолвила за него ласковое слово у королевны.

Улыбнулась Маріана, и не повѣрила ему.

Вспомнила, какъ очарованъ былъ, въ первый свой

пріѣздъ, ея красотою принцъ Альбертъ. Пока не увидѣлъ юной Аріаны. И передъ дѣвственною красотою Аріаны въ его глазахъ померкла красота королевы.

Такъ бывало и съ другими. Не разъ.

— Что дѣлаетъ тамъ Аріана?—спросила королева улыбаясь.—Моя милая дочь любитъ подниматься на эту башню, и стоитъ тамъ подолгу. У меня бы голова закружилась. И вѣтеръ такой надоѣдливый. И что она тамъ дѣлаетъ!

— Аріана любитъ восходить на высоту, отвѣтилъ влюбленный принцъ,—на высоту, гдѣ открываются широкіе горизонты, гдѣ смолкаютъ случайные шумы,— на высоту, съ которой равно малыми и ничтожными кажутся и надменные чертоги, и лачуги бѣдняковъ. И отъ широкихъ далей, и отъ высокаго неба вѣетъ на Аріану очарованіе печали. И она сходитъ къ намъ, какъ высокое явленіе красоты, и очарованіе печали на ея лицѣ.

— Очарованіе печали,—тихо повторила королева.

И продолжалъ влюбленный принцъ Альбертъ:

— Нѣтъ красоты безъ очарованія. Даруя человѣку прекрасное лицо и прекрасное тѣло, природа точно облекаетъ его неживою личиною, но, какъ въ гробѣ, спитъ живая красота въ тѣлѣ и въ лицѣ, способныхъ къ проявленію красоты и даже, повидимому, прекрасныхъ,—спитъ до тѣхъ поръ, пока не придетъ невѣдомая очаровательница и не разбудитъ спящей красоты, одаривъ ее каждый разъ новымъ очарованіемъ.

Замолчалъ Альбертъ, словно смущенный чѣмъ-то.

Кончая его мысль, сказала королева:

— Такъ, милый Альбертъ, блистательнѣйшая въ

мірѣ красота ничто, если она лишена какого-то невѣдомаго очарованія.

— Да,—сказалъ влюбленный принцъ..

Омрачилось лицо королевы тоскою и гнѣвомъ. И сказала королева Маріана:

— Я—прекраснѣйшая изъ женъ, но вамъ, милый Альбертъ, невѣдома тайна моего очарованія.

Отошла отъ него. Онъ опять поднялъ глаза на высокую башню, гдѣ все еще стояла Аріана, не замѣчая ни мачехи, ни влюбленнаго принца.

„Овѣянная очарованіемъ печали, стоитъ она тамъ,“— думала королева.—„Въ знойный полдень, когда все замираетъ подъ жгучими взорами небеснаго Змія, она одна стоитъ на высокой башнѣ, и у безмолвнаго, яснаго неба проситъ таинственныхъ очарованій. Поднимусь къ ней, посмотрю, какъ она тамъ колдуетъ и ворожитъ, подслушаю чародѣйныя слова, журчащимъ потокомъ текущія съ ея алыхъ губъ“.

И стала королева Маріана медленно подниматься по лѣстницѣ, ведущей на высокую башню.

Долго шла вверхъ. Уставала, садилась отдыхать, и опять поднималась, преодолѣвая упрямство крутыхъ ступеней. И уже была близка къ вершинѣ башни, когда увидѣла королевну Аріану сходящею внизъ.

Увидѣла и удивилась.

Прекрасно и печально было лицо Аріаны, какъ всегда, и кротко улыбались ея милыя губы, какъ всегда, но нарядъ ея былъ необыченъ. Какъ простая дѣвушка той страны въ рабочій день, одѣта была Аріана. Бѣлая грубая ткань облегала ея стройный станъ, оставляя открытыми загорѣлыя на вѣтру и на солнцѣ плечи и руки. Пестрая изъ грубой домашней матеріи юбка

была коротка. На прекрасныхъ ногахъ Аріаны не было обуви. У ея пояса висѣлъ мѣшокъ съ деньгами, и въ рукахъ держала она тяжелую корзину съ вещами, назначенными для раздачи бѣднымъ.

— Милая Аріана,—спросила королева,—зачѣмъ ты надѣла на себя эту некрасивую, грубую одежду? Если ты идешь раздавать милостыню бѣднымъ, слѣдуя своему обычаю, - хотя это могли бы сдѣлать твои служанки,—но пусть такъ, иди сама,—но вѣдь ты изранишь о песокъ и о камни свои нѣжныя ноги.

Аріана отвѣтила:

— Прости, милая мама. Я не могу не итти къ нимъ, хотя и знаю, что не могу помочь имъ ничѣмъ. Что же эти деньги и эти вещи! Всего, что я могу дать, такъ мало для нихъ! И все, что у меня есть, такъ для меня много! И тяжело мнѣ стало итти къ нимъ и дразнить ихъ завистливые взоры моимъ пышнымъ королевскимъ уборомъ. Какъ нищая, буду приходить къ нимъ,—да и развѣ я не нищая, если не могу дать такъ много, какъ хотѣла бы!

— Иди, — сказала Маріана, — куда хочешь, и какъ хочешь. Упрямая ты, и напрасно бы я тебѣ запрещала. Иди, красавица, но будь осторожна.

И, когда Аріана спускалась по лѣстницѣ, Маріана шептала:

— Въ лѣсу найдется вѣтка, достаточно сухая, чтобы выколоть тебѣ глазъ. Въ деревнѣ найдется собака, достаточно злая, чтобы укусить тебя за щеку, и изуродовать тебя. Гдѣ-нибудь на дорогѣ найдется шаткая доска и камень,—о доску споткнешься и упадешь, о камень сломаешь себѣ переносицу.

Поднялась злая Маріана наверхъ башни, и смотрѣла внизъ.

Когда Аріана вышла въ садъ, въ то мѣсто, гдѣ противъ двери изъ башни была калитка въ наружной стѣнѣ замка, къ ней подошелъ влюбленный принцъ Альбертъ.

— Милая Аріана,—сказалъ онъ, —позвольте мнѣ итти за вами.

Она улыбнулась, и сказала ему:

— Милый Альбертъ, мой путь—не вашъ путь. Вашъ путь лежитъ къ мужественнымъ подвигамъ, къ побѣдамъ и славѣ, къ торжеству и къ радости. Мой путь—въ печали и немощи, къ дѣяніямъ, всегда недостаточнымъ, всегда ничтожнымъ.

— Милая Аріана,—отвѣчалъ Альбертъ,—я пойду не съ вами, а только за вами, и не помѣшаю вамъ ни лишнимъ словомъ, ни лишнимъ взоромъ.

— Какъ нищая, я иду къ нищимъ,—сказала Аріана,—только для того, чтобы хоть одинъ тоскующій почувствовалъ, что онъ не совсѣмъ одинокъ въ этомъ жестокомъ мірѣ. Зачѣмъ же вамъ, милый Альбертъ, итти за мною?

— Милая Аріана,—настаивалъ влюбленный принцъ,—позвольте мнѣ итти за вами. Я буду охранять васъ отъ дикаго звѣря и отъ злой встрѣчи.

— Пречистая Богородица закроетъ меня своею ризою нетлѣнною отъ всякаго злого человѣка,—сказала Аріана.—Но, милый Альбертъ, если вы такъ непремѣнно хотите, и если вы не стыдитесь итти за бѣдною дѣвушкою, образъ которой я приняла, то идите со мною.

— Какъ вы милостивы, Аріана!—воскликнулъ влю-

бленный принцъ, склоняя колѣни передъ Аріаною,—позвольте мнѣ поцѣловать ваши милыя ноги.

Аріана, улыбаясь, подняла влюбленнаго принца, и сказала ему:

— Милый Альбертъ, поцѣлуйте меня лучше въ губы, какъ вашу сестру.

И поцѣловала его сама. Холоденъ и безстрастенъ былъ ея поцѣлуй, но сладкимъ восторгомъ наполнилъ онъ сердце влюбленнаго принца, и очарованіемъ печали. Вмѣстѣ вышли они изъ ограды замка, и спустились по крутой тропинкѣ въ долину, гдѣ много было разсѣяно бѣдныхъ деревень у подножія надменнаго чертога и богатаго города.

Королева Маріана смотрѣла на нихъ сверху, и злоба кипѣла въ ея зломъ сердцѣ.

Когда Альбертъ и Аріана скрылись за калиткою сада, Маріана постояла еще немного, съ недоумѣніемъ всматриваясь во все то, на что каждый день такъ долго смотрѣла Аріана. Скоро стало ей скучно. Кромѣ того непріятно было постоянное завываніе и бѣшенство вѣтра, и томило солнце, грубый и злой змѣй, обжигающій кожу. Маріана сошла внизъ, въ привычную ей обстановку богато украшенныхъ покоевъ.

Притворяться нѣжною матерью!

О, какъ завидовала Маріана простымъ людямъ, которые не пріучены притворяться! Тѣ мачехи, простыя бабы, бьютъ своихъ падчерицъ смертнымъ боемъ. И никто не заступается за бѣдныхъ дѣвочекъ.

Но что можно сдѣлать съ королевскою дочерью?

Маріана затворилась въ своихъ покояхъ, и цѣлый день томилась и плакала отъ досады и зависти. Въ зеркало смотрѣться принималась много разъ,—и каж-

дый разъ зеркало показывало ей прекрасное лицо, но каждый разъ завистливое сердце говорило Маріанѣ, что Аріана еще прекраснѣе.

Когда уже стемнѣло, королева вышла изъ своихъ покоевъ, и какъ тѣнь неприкаянная блуждала по заламъ и пустыннымъ переходамъ дворца, хоронясь отъ людей, чтобы никто не смогъ по ея мрачному лицу прочесть ея черныхъ думъ.

И воскликнула вдругъ королева, обращаясь къ сгущавшемуся въ углахъ пустынной залы сумраку:

— Тоскую и плачу, и никто мудрый и вѣщій не придетъ, и не спроситъ, отчего я тоскую.

Видно, сказаны были эти слова въ такой мигъ, когда подстерегающая стояла близко, и слушала чутко. Извѣстно вѣдь,—въ какой часъ слово молвится!

Сѣрѣя въ сѣрыхъ сумеркахъ, шелестя сѣрыми одеждами и едва слышно шурша истоптанными, сѣрыми отъ пыли башмаками, выдвинулась изъ угла старая, безобразная колдунья Хильда. Беззвучно смѣясь и хрипло покашливая, подошла она къ Маріанѣ. А королева стояла неподвижно, испуганная внезапнымъ появленіемъ, но въ глубинѣ ея злого сердца шевелилась надежда, что старуха—вѣдьма и поможетъ ей погубить падчерицыну красоту.

Молчала королева, и старая Хильда заговорила:

— Мудрый и вѣщій не спроситъ. Онъ и такъ знаетъ. Знаю и я, чѣмъ опечалена ты, прекрасная королева. Воздухъ населенъ духами, которые подслушиваютъ и тайныя мысли.

Молчала Маріана. И говорила Хильда:

— Прекрасна королева Маріана, а королевна Аріана

еще прекраснѣе. Но королева Маріана хочетъ быть прекраснѣе всѣхъ женъ, живущихъ на свѣтѣ.

Молчала Маріана. И говорила Хильда:

— На все есть средства: отъ полыни гибнутъ русалки, осина и макъ страшны вѣдьмамъ и упырямъ. Есть заговоры и заклинанія,—и чего ими не сдѣлаешь! Очарованіемъ печали красна красота Аріаны. Изъ глубины болотъ восходитъ высокая красота. Чего ты хочешь, королева Маріана: перевести ли мнѣ на тебя очарованіе печали съ твоей падчерицы? или погубить ея красоту?

— Зачѣмъ мнѣ очарованіе печали!— воскликнула Маріана,—я не хочу печали, ея и такъ у меня много. Я хочу радоваться и смѣяться.

— Какъ хочешь, милостивая госпожа,—сказала вѣдьма Хильда,—тогда погубимъ ея красоту тайными чарами. Но только дѣло это трудное и опасное,—высокіе духи оберегаютъ королевну Аріану, и какъ бы наши волхвованія не обратились тебѣ во зло, госпожа!

— Я ничего не боюсь,—угрюмо сказала прекрасная Маріана,—дѣлай, что умѣешь,—и если успѣешь, я надѣлю тебя щедро многими дарами.

Начались въ тайнѣ королевина покоя многія волхованія противъ королевны Аріаны, и все безуспѣшныя.

Каждый вечеръ приходила старая колдунья Хильда къ королевѣ. Заговорила она вынутый ею на тропинкѣ изъ замка въ долину отпечатокъ обнаженной стопы Аріаны,—и тогда жестокими болями всю ночь мучилась юная королевна, но, когда она встала утромъ, перенесенныя ею страданія сдѣлали еще сильнѣе разлитое въ ея лицѣ очарованіе печали.

Другой разъ заговорила вѣдьма прядь волосъ, отрѣзанныхъ королевою у Аріаны, и похудѣла Аріана, тонкою стала, какъ бѣлая березка,—но стала еще краше.

— Духа печали испугай радостью и смѣхомъ,—сказала однажды Хильда,—и отлетитъ очарованіе печали отъ прекраснаго лица Аріаны, когда простодушно звонкимъ зальется она смѣхомъ, искажающимъ черты лица и уродливо растягивающимъ ротъ, привыкшій только къ печальной улыбкѣ.

Маріана пошла съ посиѣшностью къ королю, и сказала ему:

— Милая дочь наша Аріана грустить и печалится, хотя нѣтъ у нея никакой причины для скорби. Великою жалостью къ Аріанѣ болитъ мое сердце. Боюсь, что зачахнетъ отъ печали и умретъ преждевременно Аріана. Надо развеселить ее, и пріучить ее къ беззаботному смѣху и веселью.

— Хорошо ты придумала,—сказалъ Теобальдъ,—дѣвушка безъ смѣха, что дерево безъ листьевъ. Я позабочусь объ этомъ.

Со всей той страны собраны были самые искусные забавники и забавницы, шуты, скоморохи, сказочники, плясуны и плясуньи, фокусники, вожаки дрессированныхъ медвѣдей и обезьянъ, изобрѣтатели смѣшныхъ механическихъ игрушекъ, комедіанты, клоуны, акробаты и акробатки. Каждый день подолгу давали они свои разнообразныя представленія,—то на дворѣ, гдѣ съ высокаго балкона смотрѣли на нихъ король, королева и юная Аріана, а на галлереяхъ и внизу тѣснились нарядныя толпы придворныхъ, вельможъ, рыцарей и знатныхъ горожанъ,—то въ одной изъ обширныхъ залъ дворца, гдѣ для тѣхъ же зрителей отведены

были мѣста по ихъ достоинству и знатности. Громко хохотали всѣ зрители, глядя на забавныя продѣлки увеселителей, и только юная Аріана улыбалась печально и смѣялась такъ тихо и грустно, что казалось, вотъ, вотъ она заплачетъ.

Фокусникъ изъ далекой страны показалъ волшебство еще невиданное и неслыханное.

На одной изъ стѣнъ зрительнаго зала натянулъ онъ полотно. Потомъ велѣлъ занавѣсить окна и погасить всѣ огни. Самъ же забрался на галлерею противъ натянутаго полотна, установилъ тамъ фонарь потайный въ нѣкоемъ темномъ ящикѣ, и громко сказалъ собравшимся:

— Смотрите на полотно.

И началъ дѣять чары, и на полотнѣ открылись далекія страны, и, какъ живые, задвигались люди и животныя, невиданные въ королевствѣ Теобальда. Сначала ужасъ объялъ зрителей, особенно, когда кудесникъ показалъ имъ диковинныя превращенія. Но потомъ забавныя сцены вызвали громкій смѣхъ зрителей. Только Аріана проливала тихія слезы.

Спросила ее королева Маріана:

— Милая дочь моя, отчего ты не смѣешься, когда вокругъ тебя такой громкій хохотъ, который и мертвеца заразилъ бы веселостью?

Аріана отвѣтила мачехѣ:

— Какъ я могу смѣяться надъ тѣмъ, чему смѣются люди! Чему они смѣются? Что ихъ забавляетъ? Обманы, побои, воровство, погоня, злость. Тяжело и смотрѣть на ихъ забавы. И вотъ я вижу,—смѣются они, а почти у каждаго въ сердцѣ есть горе или злоба.

Покраснѣла при этихъ словахъ Маріана.

Аріана же продолжала:

— И чародѣй, оживившій передъ нами полотно, заставившій толпу плакать, ужасаться и смѣяться, владѣющій дивными тайнами познанія, радостенъ ли онъ? Душа его омрачена многими печалями, и знаю, сожгутъ его за чародѣйство. И мудрѣйшій изъ людей, поэтъ, слагающій пѣсни о любви и о тайнѣ, влачитъ на своихъ плечахъ тяжкій грузъ несчастливой жизни, и душа его мрачна, какъ подземная темница.

Молча оставила ее Маріана. А на утро чародѣя-кинематографщика сожгли.

Самое сильное волхвованіе было, когда Хильда сдѣлала изъ воска фигуру человѣка, и съ обрядомъ, кощунственно повторявшимъ таинство крещенія, нарекла ее Аріаною.

— Что сдѣлаешь съ этимъ человѣкомъ изъ воска,— сказала старая,— то и съ Аріаною случится.

Маріана вынула изъ своей косы золотую иглу и, повторяя за колдуньею слова заклинанія:

— Какъ здѣсь Аріана восковая въ моихъ рукахъ красоту теряетъ, такъ бы и тамъ Аріана живая красоту потеряла,—

Провела острымъ концомъ иглы по восковой щекѣ, и намѣревалась еще и еще много сдѣлать знаковъ на воскѣ, чтобы изуродовать лицо Аріаны, какъ вдругъ выронила изъ рукъ иглу, и вскрикнула отъ внезапной острой боли въ лицѣ. Капли крови упали на ея руки, и въ зеркало увидѣла она рану на щекѣ своей. Смущенная вѣдьма бормотала:

— Ворожила на Аріану, сталось на Маріанѣ. Оберегающій Аріану духъ вложилъ, должно быть, въ твои уста твое имя вмѣсто имени Аріаны. Ничего не сдѣ-

лать съ нею чарами воска,—оставь эту восковую, чтобы тебѣ самой не было большаго горя.

Чародѣйства, и заговоры, и нашептыванія по вѣтру, и наговоры на водѣ, ничто не приводило къ цѣли, и хотя много страдала Аріана отъ злыхъ чаръ, но становилась все прекраснѣе.

И наконецъ сказала вѣдьма:

— Не сгубить намъ красоты юной королевны. Заклятіе печали, наложенное на нее, сильнѣе всѣхъ чаръ, какія есть на землѣ.

— Что же намъ дѣлать?—спросила королева Маріана.

— Одно осталось, послѣднее средство,—сказала Хильда,—перевести на тебя, королева, съ Аріаны очарованіе печали.

Крѣпко задумалась королева, и долго думала, и наконецъ сказала:

— Хорошо, пусть будетъ по твоему, старая вѣдьма. Пусть Аріана будетъ смѣяться и веселиться, пусть я буду тосковать и печалиться, какъ она теперь,—только бы мнѣ быть красивѣе Аріаны.

Хильда хрипло засмѣялась, показывая желтые, кривые зубы, и сказала:

— Она то ужъ не будетъ смѣяться. Ея очарованіе перевести на тебя можно только въ часъ ея скорой кончины.

— Да я не хочу ея смерти,—притворно-испуганнымъ голосомъ сказала Маріана.

Старая вѣдьма смѣялась, и повторяла:

— Иначе нельзя. Да ты ничего не бойся. Я такъ сдѣлаю, что никто не узнаетъ.

И наконецъ Маріана согласилась.

Тогда вѣдьма вытащила изъ-за пазухи бѣлый платокъ, отдала его королевѣ, и сказала:

— Въ этомъ платкѣ—большая сила. Только съ нимъ надо обходиться осторожно. Когда королевна станетъ умирать, закрой ея лицо этимъ платкомъ, чтобы капли ея пота въ него впитались, и этимъ платкомъ оботри свое лицо. И тогда обаяніе, которымъ прекрасна была юная королевна, перейдетъ къ тебѣ.

Вѣдьма разсказала королевѣ, когда и какъ она погубитъ Аріану, и ушла, богатые унося съ собою опять дары.

На другой день, когда Аріана поднялась на башню, Маріана пришла и стала внизу башни, рядомъ съ влюбленнымъ принцемъ. Говорила съ нимъ, и мѣшала ему смотрѣть на Аріану, и ждала.

Въ это время старая Хильда поднялась на башню. Стала на колѣни, чтобы не видѣлъ ее никто изъ-за высокаго парапета, и смиренно поползла къ Аріанѣ, шепча слова благодарности.

— Встань, старая,—сказала Аріана,—зачѣмъ ты ползаешь на колѣняхъ?

— Милая королевна,—говорила старая вѣдьма, ты вымолила у короля помилованіе моему сыну, котораго немилостивые судьи присудили повѣсить только за то, что злые разбойники напоили его виномъ и заманили въ свою шайку. Дай мнѣ поцѣловать твои ноги, добрая, милостивая, прекрасная королевна.

Аріана за многихъ просила у короля, хотя и не всегда успѣшно; случалось ей, хоть и не часто, вымаливать помилованіе и присужденнымъ къ смертной казни. Припоминала, кто бы могъ быть тотъ, за кого благодаритъ старуха, стояла спокойно, и хотя было пре-

тивно, что старая вѣдьма цѣлуетъ ея ноги, но не мѣшала; знала Аріана, что рабамъ пріятно пресмыкаться и цѣловать ноги господъ, и этимъ, въ самомъ униженіи, утверждать свою личность.

Старуха вдругъ охватила колѣни Аріаны, головою толкнула ее къ парапету; быстро подняла ея ноги, и опрокинула ее черезъ парапетъ. Взвѣяли въ воздухѣ легкія одежды,—и старая вѣдьма метнулась внизъ, сѣрымъ клубкомъ скатилась по лѣстницѣ, и спряталась гдѣ-то, шепча заговоры.

Такъ быстро это случилось, что Аріана не успѣла приготовиться къ защитѣ, какъ уже почувствовала, что падаетъ, вращаясь въ воздухѣ.

„Я умираю", —коротко и ясно подумала она, и не было въ ней ни удивленія, ни испуга. Ударилась о выступъ кровли спиною, и не почувствовала боли. Опять ударилась головою о выступъ башни, и опять не почувствовала боли. Третій разъ ударилась о вѣтку стараго дерева,—и считала ушибы, и не чувствовала боли. Время казалось ей нескончаемо длиннымъ, такъ что вся жизнь припомнилась въ эту короткую минуту.

Древній и мудрый духъ, обитающій въ старомъ деревѣ, простеръ навстрѣчу подающей королевнѣ свои руки, обратившіяся вдругъ въ вѣтви дерева. Бережно и нѣжно принимали вѣтви Аріану, стараясь не касаться ея тѣла, а только придерживать за платье. Замедляя паденіе Аріаны, каждая вѣтка осторожно качала ее, и передавала внизъ, на слѣдующую. И послѣдняя вѣтвь медленно отпускала Аріану, пока ея ноги не коснулись земли,—и потомъ выпрямилась, и бросила Аріану на руки подбѣжавшихъ къ этому мѣсту Маріаны и Альберта.

Съ воплями притворной горести опустила на землю Маріана неподвижное тѣло падчерицы, открыла ея грудь, вынула изъ за своего низко-вырѣзаннаго корсажа флаконъ съ мертвою водою, которую вчера дала ей Хильда, и этою водою облила грудь Аріаны, повторяя:

— Милое дитя мое, открой свои ненаглядные глазки, понюхай этого спирта, который такъ хорошо помогалъ мнѣ при обморокахъ.

Положила руку на грудь Аріаны,—слабо билось и замирало сердце королевы. Тогда Аріана вынула изъза корсажа чародѣйный платокъ, раскрыла его широко, и вытерла имъ лицо Аріаны.

И отшатнулась, и бросилась бѣжать, сжимая въ рукѣ чародѣйный платокъ и громкими воплями разнося повсюду смятеніе и страхъ.

Альбертъ склонился надъ Аріаною,—и едва узналъ ее. Отлетѣло очарованіе печали, губы утратили кроткую улыбку, глаза были безвыразительно-крѣпко сомкнуты, какъ у слѣпорожденной, и все лицо было равнодушною, мертвою, восковою личиною красоты.

Къ тѣлу бездыханной Аріаны сбѣжались всѣ, кто былъ въ замкѣ. Слуги плакали надъ ласковою госпожею, лѣкари долго осматривали прекрасное тѣло, и рѣшили, что Аріана умерла. Суровою скорбью омрачилось лицо короля Теобальда. Королева Маріана заперлась въ своей спальнѣ, и оттуда далеко были слышны ея громкія рыданія.

Невидимый никѣмъ, кромѣ возлюбленнаго принца, подошелъ къ Альберту духъ стараго дерева въ образѣ маленькаго старика съ веселыми глазами. Сказалъ:

— Не тоскуй, Альбертъ, Аріана не умерла. Она об-

рызгана мертвою водою, и сохранится цѣлою и невредимою, пока не брызнуть на нее живою водою.

— Гдѣ же эта живая вода? —съ радостною надеждою спросилъ Альбертъ.—Я пойду за нею хоть на край свѣта, и возьму ее, хоть бы пришлось за нее биться со всѣми чудовищами и великанами.

Я дамъ тебѣ живую воду, Альбертъ,—сказалъ старикъ,—но поклянись мнѣ, что ты не воспользуешься ею, пока не придетъ время.

Альбертъ поклялся, и старикъ передалъ ему флаконъ съ красною жидкостью.

— Когда же настанетъ время?—спросилъ Альбертъ.

— Объ этомъ скажетъ тебѣ Маріана,—промолвилъ старикъ, и исчезъ.

Положили Аріану въ хрустальный гробъ, отнесли ее въ королевскій склепъ, повѣсили тамъ гробъ на золотыхъ цѣпяхъ. Какъ живая, лежала въ гробу Аріана.

Какъ только Маріана пришла къ себѣ съ платкомъ, которымъ вытерла лицо умирающей падчерицы, она замкнула двери, и набросила на свое лицо чародѣйный платокъ.

Острые мечи печали пронзили ея сердце, и она упала на полъ, и завопила отъ нестерпимой тоски. Долго рыдала, и колотилась головою о полъ, и не могла утѣшиться. Все, что она ни вспоминала, окрашивалось передъ нею въ цвѣта печали, въ цвѣта Аріаны, черный и алый.

Встала наконецъ, взглянула въ зеркало, и отшатнулась въ страхѣ. Ужасное, хотя и прекрасное лицо глянуло на нее. Оно было блѣдно, и кровавою на немъ раною казалась яркая красная черта губъ.

— Ты прекраснѣе Аріаны,—сказало ей зеркало,—но красота твоя страшна,—въ ней очарованіе печали, и невинной крови, и смертнаго ужаса. Въ ней очарованіе порока,—мудрѣйшее и злѣйшее изъ очарованій.

Когда похоронили Аріану, полюбила королева подниматься на высокую башню, и слушать голоса просторовъ и бури, и смотрѣть на то, что видѣли Аріанины очи.

Дивились люди дикой и страшной красотѣ Маріаны, и тому, какъ измѣнился ея нравъ.

— Мачеха, а какъ тоскуетъ по Аріанѣ!

Однажды вечеромъ пришла Маріана къ Альберту, и сказала:

— Если бы я могла отдать Аріанѣ мою душу вмѣстѣ съ очарованіемъ печали! Легче ей въ гробу, чѣмъ мнѣ на свѣтѣ.

Понялъ Альбертъ, что пора. Спустился въ склепъ, разбилъ гробъ, обрызгалъ Аріану живою водою, и вывелъ ее къ живымъ.

— Аріана жива!

Радостная разнеслась вѣсть, и всѣ спѣшили къ королевскому замку. Среди общаго ликованія только одна Аріана была холодна и равнодушна. Спокойнымъ Да отвѣчала она каждому явленію жизни, и смотрѣла на отчетливо предстающіе передъ нею предметы, не узнавая за ними ничего.

Королева же Маріана рѣшилась умереть и возвратить Аріанѣ очарованіе печали.

Сказалъ Аріанѣ Альбертъ:

— Милая Аріана, хочешь ли быть моею женою?

Нерадующимъ голосомъ отвѣтила:

— Да.

Когда вернулись молодые изъ-подъ вѣнца, Маріана тайно всыпала въ свой кубокъ отраву, и выпила отравленное вино. Вынула чародѣйный платокъ, и сказала Аріанѣ очень тихо:

— Отъ счастья и отъ печали умираю. Милая дочь, этимъ платкомъ вытри мое лицо, орошенное смертнымъ потомъ.

Послушно исполнила это Аріана.

— И этимъ платкомъ вытри свое лицо,—сказала Маріана.

И когда платокъ коснулся Аріанина лица, умерла Маріана. И въ тотъ же мигъ мечи печали пронзили сердце юной Аріаны, и съ громкимъ воплемъ открыла она лицо,—прекрасный ликъ, обвѣянный очарованіемъ печали.

Съ громкимъ воплемъ бросилась она на холодѣющую грудь злой мачехи.

— Съ тобою, съ тобою,—вопила она.

Подстерегающая желанія стояла близко. Взяла она темную душу Маріаны, и соединила ее съ изнемогающею отъ печали душою Аріаны.

Чувствуя въ своей груди двойную отнынѣ душу, и преображеніе зла силою печали, встала Аріана отъ трупа, въ которомъ уже не было души. И была она еще прекраснѣе, чѣмъ прежде, новою преображенною красотою. По волѣ созидающаго и разрушающаго души вернула ь она въ міръ,—нести ему очарованіе печали.

ТѢЛА И ДУША.

Сидѣли двое, послѣ обѣда, и разговаривали.

Такъ начинаются многіе разсказы. Нѣтъ никакой причины не начать точно такъ же и этотъ разсказъ.

Былъ ясный весенній день. Кабинетъ любезнаго хозяина, въ его городской квартирѣ, выходилъ окнами на шумную и людную улицу. Это не мѣшаетъ замѣтить теперь же.

Хозяинъ былъ человѣкъ, давно и широко извѣстный своею кипучею и успѣшною дѣятельностью. Гость его былъ во всѣхъ отношеніяхъ поплоше. Хозяина звали Георгій Алексѣевичъ Радугинъ, гостя—Иванъ Иванычъ Скворцовъ. Хозяинъ—инженеръ, гость — чиновникъ не изъ самыхъ маленькихъ.

Хозяинъ сидѣлъ въ креслѣ, слегка, но очень комфортабельно развалясь, и курилъ сигару очень дорогую, и очень, на свѣжаго человѣка, скверную. Былъ радъ тому, что его сигара такая крѣпкая и такая вонючая, и что отъ нея такой синій, медленно плывущій въ воздухѣ, кружащій голову дымъ, и такое рѣзкое ощущеніе на языкѣ. Гость посиживалъ на другомъ креслѣ, радостно ощущалъ пріятную мягкость и удобную широкость кресла, покуривалъ сигару, данную

гостепріимнымъ хозяиномъ, и съ большимъ уваженіемъ поглядывалъ на хозяина. Сигара ему совсѣмъ не нравилась,—онъ предпочиталъ нѣмецкія, дешевыя и слащавыя сигарки, свернутыя, можетъ быть, изъ новгородской капусты, но имѣющія видъ настоящихъ гаванскихъ вонючекъ.

Такова ситуація. Разговоръ же состоялъ въ томъ преимущественно, что гость удивлялся хозяину, хвалилъ его и льстилъ ему, а хозяинъ слегка хвастался, какъ человѣкъ, привыкшій къ тому, чтобы ему всѣ удивлялись и чтобы его всѣ хвалили.

Скворцовъ уже не въ первый разъ говорилъ:

— Какъ вы успѣваете? Ей Богу, удивительно и даже поразительно, особенно въ нашъ вѣкъ, когда всѣ жалуются и никто не хочетъ ничего дѣлать. И какъ вы находите время на всѣ ваши дѣла и предпріятія? Право, можно подумать, что вы никогда не спите. Да что! Для другого и двадцати четырехъ часовъ въ сутки было бы мало, чтобы все это сдѣлать,—а вы какъ-то успѣваете. Да еще вездѣ бываете и всѣмъ интересуетесь. Ей Богу, поразительно.

Говорилось все это, конечно, довольно гнуснымъ теноркомъ, почти фальцетомъ. Люди, не слишкомъ преуспѣвшіе въ жизни, не имѣютъ никакихъ основаній обладать другимъ голосомъ. Такъ бываетъ во всѣхъ разсказахъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда въ разсчеты автора входитъ — поразить читателя контрастомъ, совершенно неожиданнымъ. Но такъ какъ соль этого разсказа совсѣмъ иная, то въ отношеніи голосовъ, фигуръ и всего прочаго во внѣшнихъ проявленіяхъ дѣйствующихъ лицъ не допущено авторомъ

отступленій отъ тѣхъ порядковъ, которые соблюдаются во всѣхъ повѣствованіяхъ.

Поэтому, для внимательнаго читателя почти не надо говорить о томъ, что хозяинъ, Радугинъ, говорилъ пріятнымъ, слегка сиповатымъ басомъ, и обладалъ весьма представительною внѣшностью.

Итакъ, Радугинъ на изліянія своего гостя отвѣчалъ пріятнымъ басомъ, любезно улыбаясь:

— Это вовсе не такъ удивительно, какъ вамъ кажется, милѣйшій Иванъ Иванычъ.

По внезапно вспыхнувшимъ въ его глазахъ лукавымъ и бойкимъ огонькамъ сразу стало понятно, что онъ расположенъ къ нѣкоторой откровенности. Оттого ли, что дѣло было послѣ обѣда, или оттого, что Скворцовъ оказалъ Радугину довольно крупную услугу. Скворцовъ вообще могъ быть весьма полезенъ Радугину, — такъ сложились ихъ дѣловыя отношенія, и такова была служебная обстановка Скворцова. Въ благодарность за послѣднее устроенное Скворцовымъ дѣло Радугинъ сегодня угощалъ его обѣдомъ.

Скворцовъ, радостно чувствуя, что хозяинъ расположенъ къ откровенности, продолжалъ изливаться въ выраженіяхъ удивленія. Онъ думалъ, что откровенность Радугина влечетъ за собою новое, пріятное въ смыслѣ личныхъ выгодъ дѣло. Да и вообще откровенность знаменуетъ собою дружескія отношенія, а быть на короткой ногѣ съ самимъ Радугинымъ, конечно, для всякаго въ положеніи Скворцова лестно.

Радугинъ посмотрѣлъ въ окно. Засмѣялся чему-то. Всталъ и подошелъ къ окну,—и синее облачко табачнаго дыма красиво потянулось за нимъ.

Радугинъ позвалъ гостя:

— Иванъ Иванычъ, подойдите-ка сюда, посмотрите-ка на эти двѣ лѣстницы.

Иванъ Иванычъ, заранѣе на всякій случай улыбаясь, подошелъ къ окну, глянулъ туда, куда показывалъ ему хозяинъ, и опять перевелъ глаза на Радугина съ выраженіемъ заинтересованности и вопроса.

Радугинъ спросилъ:

— Какъ вы думаете, Иванъ Иванычъ, кто изъ этихъ двухъ молодцовъ раньше доберется до верху, красный или черный?

Скворцовъ быстро глянулъ въ окно, опять повернулся, изъ вѣжливости и чтобы не заставлять ждать отвѣта, къ Радугину, и сказалъ:

— Понятно, красный раньше доберется, — онъ выше а лѣзутъ они оба съ одинаковымъ усердіемъ.

Радугинъ самодовольно захохоталъ, какъ человѣкъ, хитро подловившій въ чемъ-то другого. Тогда Скворцовъ поглядѣлъ на улицу повнимательнѣе, и засмѣялся тоже. Къ стѣнѣ противоположнаго дома приставлена была лѣстница, и взбирался на нее зачѣмъ-то рабочій, молодой парень въ красной рубашкѣ. А на стѣну дома падала тѣнь отъ лѣстницы, и казалось при первомъ бѣгломъ взглядѣ, что двѣ лѣстницы поставлены и что всходятъ по нимъ два человѣка, одинъ въ красной рубашкѣ, и другой въ черной.

— Обманъ зрѣнія удивительный, — говорилъ Скворцовъ, и вѣжливо смѣялся тѣмъ тоненькимъ гаденькимъ смѣшкомъ, какой бываетъ только у маленькихъ человѣчковъ, когда они смѣются сами надъ собою, чтобы угодить кому-нибудь большому и сильному.

Радугинъ отошелъ отъ окна, усѣлся опять поудоб-

нѣе, и сказалъ наставительно, съ горы опыта и житейской мудрости:

— То-то вотъ обманъ зрѣнія. Иногда обманъ зрѣнія, иногда обманъ слуха, а иногда, глядишь, и кое-что болѣе существенное навернется. Такъ-то вотъ и съ моими замѣстителями.

Скворцовъ сторожко встрепенулся. Радугинъ помолчалъ, значительно и внимательно посмотрѣлъ на Скворцова, и видя, что интересъ его весьма возбужденъ, самодовольно улыбнулся и продолжалъ:

— Никому я до сей поры объ этихъ моихъ замѣстителяхъ не разсказывалъ. А вотъ вамъ первому разскажу. Если вамъ не скучно послушать.

— Помилуйте, что вы говорите, — забезпокоился Скворцовъ,— я съ величайшимъ вниманіемъ и интересомъ выслушаю. Мнѣ очень лестно, что вы меня удостоиваете вашей откровенности. Помилуйте, за счастіе почитаю.

Даже покраснѣлъ отъ страха, что его можетъ счесть Радугинъ нежелающимъ выслушать.

— Хочется почему-то вамъ разсказать, — говорилъ Радугинъ, и видно было по его увѣренному лицу и неторопливымъ движеніямъ, что онъ и не ожидалъ иного отвѣта.—Правда, не безъ задней мысли. Да вотъ вы сами увидите сейчасъ, въ чемъ тутъ дѣло.

Скворцовъ радостно захихикалъ, всею фигурою выражая готовность слушать съ усердіемъ и великимъ даже удовольствіемъ.

— Вы думаете, я много работаю?—спросилъ Радугинъ, и хитрая усмѣшечка пробѣжала подъ его коротко подстриженными сѣдѣющими усами.

— Хе-хе-хе, шутить изволите! — весело отвѣтилъ

Скворцовъ.— Ужъ ежели вы не много работаете, то кто же тогда и работаетъ!

— Да, вотъ всѣ такъ думаютъ,—продолжалъ Радугинъ,—а ничуть не бывало. Моя работоспособность—самая ординарная. Правда, что я не лѣнтяй. И дѣлаю я, точно, много. Такъ много, что и вы не повѣрите. Да и никто. Больше дѣлаю, чѣмъ объ этомъ знаютъ мои друзья и недруги. Да-съ, гораздо побольше. И дѣлаю все это я не самъ, а при помощи такихъ особыхъ, запасныхъ человѣчковъ. Какъ это вамъ понравится?

— Запасныхъ?—робко спросилъ Скворцовъ.

Его лукавые, сѣрые глазенки вороватo шмыгнули по всѣмъ угламъ просторнаго кабинета, и опять уставились на хозяина съ тревожнымъ выраженіемъ любопытства и непониманія.

Радугинъ помолчалъ. Нахмурился. Внимательно посмотрѣлъ на Скворцова. Видно было, что раздумываетъ снова, стоитъ ли говорить совсѣмъ откровенно. Наконецъ рѣшился. Увѣренно усмѣхнулся. Бросилъ остатокъ сигары. Заговорилъ тономъ разсказа, съ пріемами человѣка, привыкшаго говорить и чтобы его слушали,—и Скворцовъ усѣлся поудобнѣе и спокойнѣе, видя, что предстоитъ выслушать цѣлую исторію.

— Давно это самое дѣло у меня началось, еще когда я совсѣмъ зеленымъ мальчишкой былъ,—разсказывалъ Радугинъ.—Шелъ мнѣ тогда пятнадцатый годъ. Жили мы лѣтомъ въ нашемъ имѣніи, въ Нижегородской губерніи. Житье мнѣ въ то лѣто было совсѣмъ не привольное, потому что приставленъ былъ ко мнѣ нѣкій, изрядно-таки нескладный и непокладливый студентъ. А приставленъ ко мнѣ онъ былъ по той горестной для

меня причинѣ, что предстояла мнѣ осенью переэкзаменовка.

— Не весело,—участливо вздохнулъ Скворцовъ.

— Да-съ, весьма невесело,—согласился Радугинъ.— Вырвешься когда на волю, только о томъ и думаешь, какъ бы удрать подальше отъ моего ментора,—осточертѣлъ онъ мнѣ невообразимо. Вотъ однажды, въ жаркій день, забрался я въ лѣсъ, въ самую чащу. Усѣлся тамъ на краю какого-то нелѣпаго и невзрачнаго оврага. Тамъ, въ полѣ, жарища нестерпимая,—а здѣсь, въ лѣсной тиши, очень пріятно,—прохладно, и такъ смолкой попахиваетъ, а внизу, въ оврагѣ, какіе-то цвѣточки метелки, бѣлыя, на видъ некрасивыя, а туда же пахнутъ довольно пріятно. Сижу, глазѣю, то помечтаю, а то больше предаюсь грустнымъ размышленіямъ о невеселыхъ моихъ обстоятельствахъ. Отдыха настоящаго за лѣто нѣтъ, а между тѣмъ скоро и осень настанетъ, и опять начнется несносное хожденіе въ эту треклятую гимназію и постылый зубрежъ. Какъ вспомнишь какую-нибудь учительскую физіономію, такъ въ жаръ и холодъ отъ отвращенія кинетъ.

— Да-съ, по большей части, несимпатичный народъ,— поддакнулъ Скворцовъ.

Радугинъ лѣниво и слегка насмѣшливо глянулъ на Скворцова, и продолжалъ разсказывать:

— Вдругъ,—можете себѣ представить!—вижу передъ собою лѣсного человѣка. Никогда раньше мнѣ никакая чертовщина не являлась, а тутъ вдругъ — извольте радоваться!

— Отъ жары, надо полагать,—робко вставилъ Скворцовъ.

— Ну ужъ не знаю, отъ жары ли, отъ чего ли

другого,—съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ отвѣтилъ Радугинъ,—да и какая тамъ въ лѣсу жара! Это въ полѣ точно было жарко, а тамъ, я вамъ уже говорилъ, было довольно прохладно. Конечно, тепло, но не настолько все-таки, чтобы мерещиться невѣсть что стало. Какъ бы то ни стало, сидитъ этакая противоестественная образина,—маленькій такой, весь вершка въ три. Весь зеленый. Сидитъ на какомъ-то сучкѣ, хвостикомъ потряхиваетъ, и посмѣивается. Ротъ до ушей, уши болтаются,—красавецъ, нечего сказать. И такъ я тогда раступжился да размечтался, что нисколько не былъ удивленъ появленіемъ этой хари богомерзкой. И даже,—представьте!—говорю ему: „хоть бы ты, недотыкомка, мнѣ помогъ“. А онъ мнѣ отвѣчаетъ: „что-жъ, помогу“.

— Скажите!—съ удивленіемъ воскликнулъ Скворцовъ.

Радугинъ продолжалъ:

— Ну, слово за словомъ, разговорились мы съ нимъ. Онъ мнѣ и говоритъ: „ты самъ ничего не дѣлай, ни уроковъ самъ трудныхъ не учи, ни работъ не пиши. А есть такіе ненужные людишки, которыми можно овладѣть. Они на видъ какъ будто и настоящіе люди, и все у нихъ на своемъ мѣстѣ, и они все какъ всѣ дѣлаютъ, а по-настоящему-то ихъ и нѣтъ вовсе. Такъ, видимость только одна, а человѣка нѣтъ. Ни души у него, ни воли, ничего нѣтъ. Самъ для себя онъ не нуженъ, а всю работу человѣческую онъ можетъ сдѣлать, почти какъ настоящій человѣкъ. Только надо его наставить, завести, какъ машину, а ужъ онъ пойдетъ и сдѣлаетъ все, что тебѣ надо“.—Я его, понятно, спрашиваю: „голубчикъ недотыкомка, да научи, какъ же это сдѣлать, будь благодѣтель“.—А онъ говоритъ: „для

этого я дамъ тебѣ такой талисманъ“. Сбѣгалъ куда-то очень проворно, и принесъ мнѣ вотъ эту штучку, которую я съ тѣхъ поръ храню, какъ зеницу ока. Показать?

— Пожалуйста, покажите, это—такъ интересно,— попросилъ Скворцовъ, улыбаясь нерѣшительно, и не зная, очевидно, какъ относиться къ словамъ хозяина, принять ли ихъ въ шутку или въ серьезъ.

— А вы не боитесь?— спросилъ Радугинъ.

Его лицо вдругъ сдѣлалось строгимъ и значительнымъ. Скворцовъ почувствовалъ себя почему-то неловко. Неувѣреннымъ голосомъ сказалъ онъ:

— Нѣтъ, чего же мнѣ бояться. Пожалуйста, покажите.

Радугинъ опять усмѣхнулся. На этотъ разъ жесткая и невеселая была у него улыбка. Тономъ странной угрозы онъ сказалъ:

— Ну, смотрите, да только ужъ потомъ на меня не пеняйте,—сами захотѣли.

Не спѣша, вынулъ онъ изъ бокового кармана своей домашней инженерной тужурки небольшую записную книжку, медленно развернулъ ее, и вытащилъ изъ ея карманика маленькій, плотной бумаги конвертикъ. Глаза Скворцова съ жаднымъ любопытствомъ приковались къ бѣлымъ и пухлымъ рукамъ хозяина. Радугинъ раскрылъ конвертъ, не торопясь, слегка тряхнулъ его надъ столомъ, и изъ конверта выпалъ на столъ небольшой, плотный, побурѣвшій отъ времени, но еще совершенно цѣлый листъ какого-то дерева.

— Вотъ полюбуйтесь,—сказалъ Радугинъ, взялъ листъ осторожно, двумя пальцами, и повертѣлъ его передъ глазами Скворцова.

— Только-то? — радостно и удивленно спросилъ Скворцовъ. Ну, это—предметъ, не наводящій большого страха. А я, признаться, ожидалъ чего-нибудь неестественнаго.

Радугинъ осторожно вложилъ листъ въ ко...
и, неторопливо убирая его на прежнее мѣст...
холодно:

— Очень радъ, что это васъ н...
милѣйшій Иванъ Иванычъ, ...
что у меня было вотъ к...
вѣчкомъ: всякій, а т...
листокъ, съ то...
мое распо...
сила...

и двигались,—
ѣнностью, куль-
ертвыми волями
ніями разныхъ
жизни, своего
ѣмененнымъ пла-
трепетали въ
уга и дерзно-
гія, волшебною
ясь изъ этого
е обладаніе,
мъ довольно
ылъ настоя-
—Что вы на

выражало.
нь хорошо

хнулся.

было
вчать та-

орцову.

ум-
у васъ

ь тихо
облачко
ута въ

ь
чт
раб
сколь
справ
—
— За
— Эт
вичъ.
Потомъ
похожъ на т
онъ раньше,
вольно, что хо
свое кресло, и
номъ положенiи,
выразительнымъ,
Въ тотъ же миг
вато-сѣрое, пронесло
двумя собесѣдниками,
номъ направленiи, и
глаза, потянулся, встал
на Скворцова, и досадлив

.., сталъ

ОГЛАВЛЕНІЕ.



Ц. 1 р. 25 к.